

В. В. ВЫСОЦКИЙ Я, конечно, вернусь...

В

2

MAISON MARTIN MARGIELA



Я, конечно, вернусь...

Вместе с тобой

Описать в нескольких строках сложную личность Владимира Высоцкого невозможно. Что касается меня, хотя я написала о нем по меньшей мере 250 страниц, до конца замысла моего еще далеко. Мне кажется, я только начинаю свое свидетельство о Володе.

В самом деле, как рассказать о тысяче граней этого человека? Это все равно, что составить нудный перечень положительных качеств и недостатков! А если кто и был совсем не нудным человеком, так это он. Кроме того, у него многие недостатки были одновременно и его достоинствами... ибо у такого артиста, который успешно брался за все, темперамент, избыточный для простого актера, являлся необходимым для певца-исполнителя, а взрывы его в повседневной жизни были спровоцированы и, может быть, вскормлены гением поэта. Его невероятная энергия утомляла всех, но она же позволила ему в течение столь краткой жизни создать около 700 поэтических произведений. Все окружающие, не жалея его, пользовались его щедростью, которая граничила с расточительностью.

В будущем специалисты станут рассуждать о Высоцком-композиторе, о Высоцком-трагике, о Высоцком-поэте и о преждевременно ушедшем из жизни Высоцком — ОБЩЕСТВЕННОМ человеке. Но всем тем, кто хочет знать, кем же был Володя, я позволю себе дать скромный совет: пусть они возьмут в руки ВСЕ его сочинения и

погрузятся в это чтение. Тогда они будут знать о нем все.

Совершенно очевидно, что для этого нужно издать в полном виде его литературное наследие,—рукописи я передала в ЦГАЛИ, и они там бережно хранятся. Верю, что такой же бережной будет работа издателей.

Мне бы хотелось, чтобы это было сделано как можно быстрее. Я заранее благодарю всех женщин и мужчин, кто поможет выполнить эту работу, всех, кто доведет до конца это великопепное дело.

Марина
Владим.
21.11.1986

И снизу лёд, и сверху — маюсь между.
Пробить ли верх иль пробуравить низ?
Конечно, всплыть и не терять надежду,
А там — за дело, в ожиданье виз.

Лёд надо мною — надломись и тресни!
Я весь в поту, как пахарь от сохи.
Вернись к тебе, как корабли из песни,
Всё помня, даже старые стихи.

Мне меньше полувека — сорок с лишним.
12 лет

Я жив, тобой и Господом храним.*

Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним.

1980

* Авторский вариант строки.



Я, конечно, вернусь

Стихи и песни В. ВЫСОЦКОГО
Воспоминания

Москва «Книга» 1988

Составитель Н.А.Крымова
Рецензент Р.И.Рождественский
В подготовке текстов к печати
принимали участие
В.Абдулов, Г.Антимоний

© Состав, воспоминания, отмеченные
в оглавлении*, художественное оформление.
Издательство «Книга», 1988

ISBN 5-212-00065-3

Издательство приносит благодарность
родителям поэта Н.М.Высоцкой, С.В.Высоцкому,
фотографам В.Плотникову, А.Стернину, Г.Перьян,
сценографу Д.Боровскому, инженеру А.Крылову,
всем, кто предоставил материалы для оформле-
ния книги.

Подбор фотодокументов,
макет и оформление
художника А.Троянкера





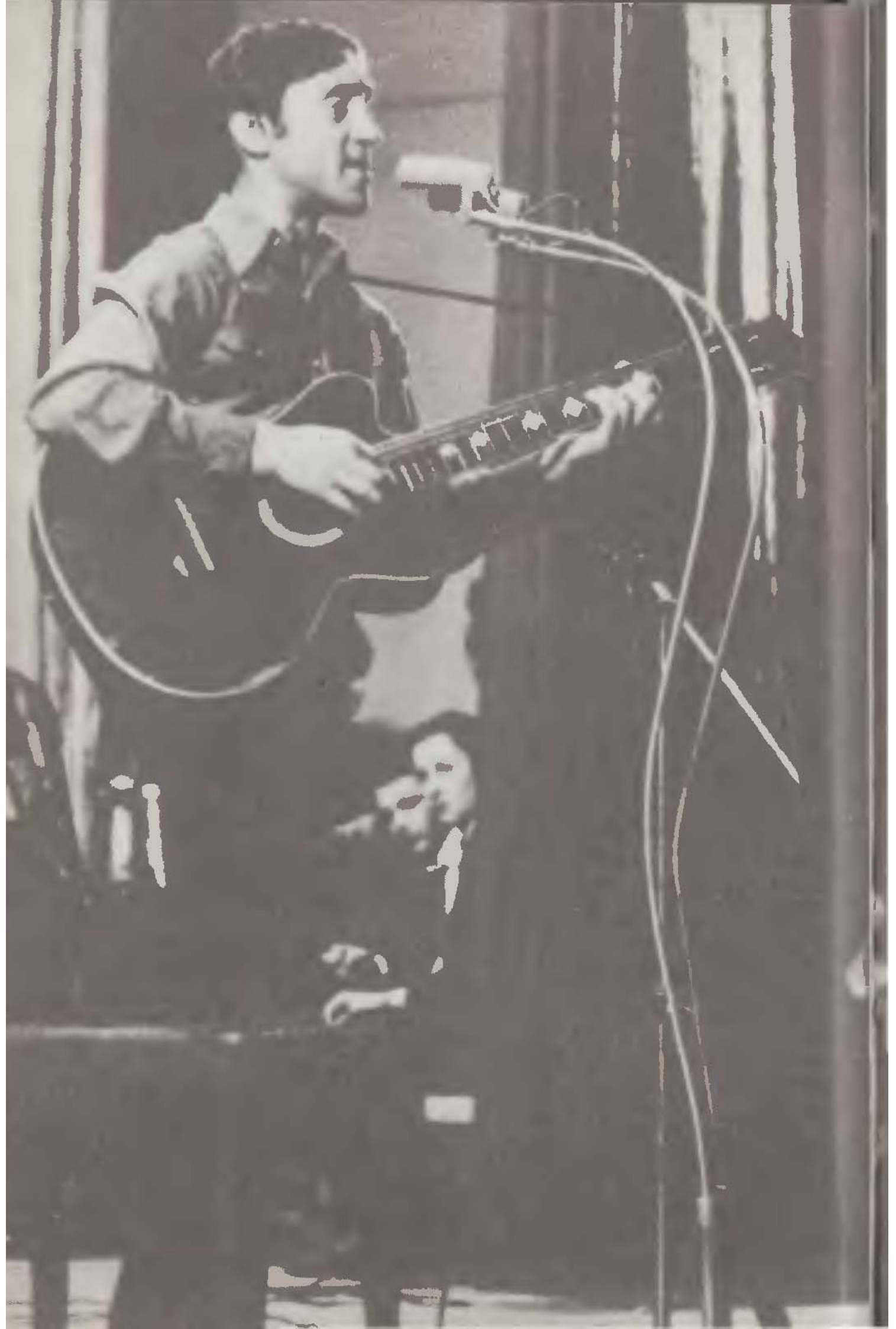














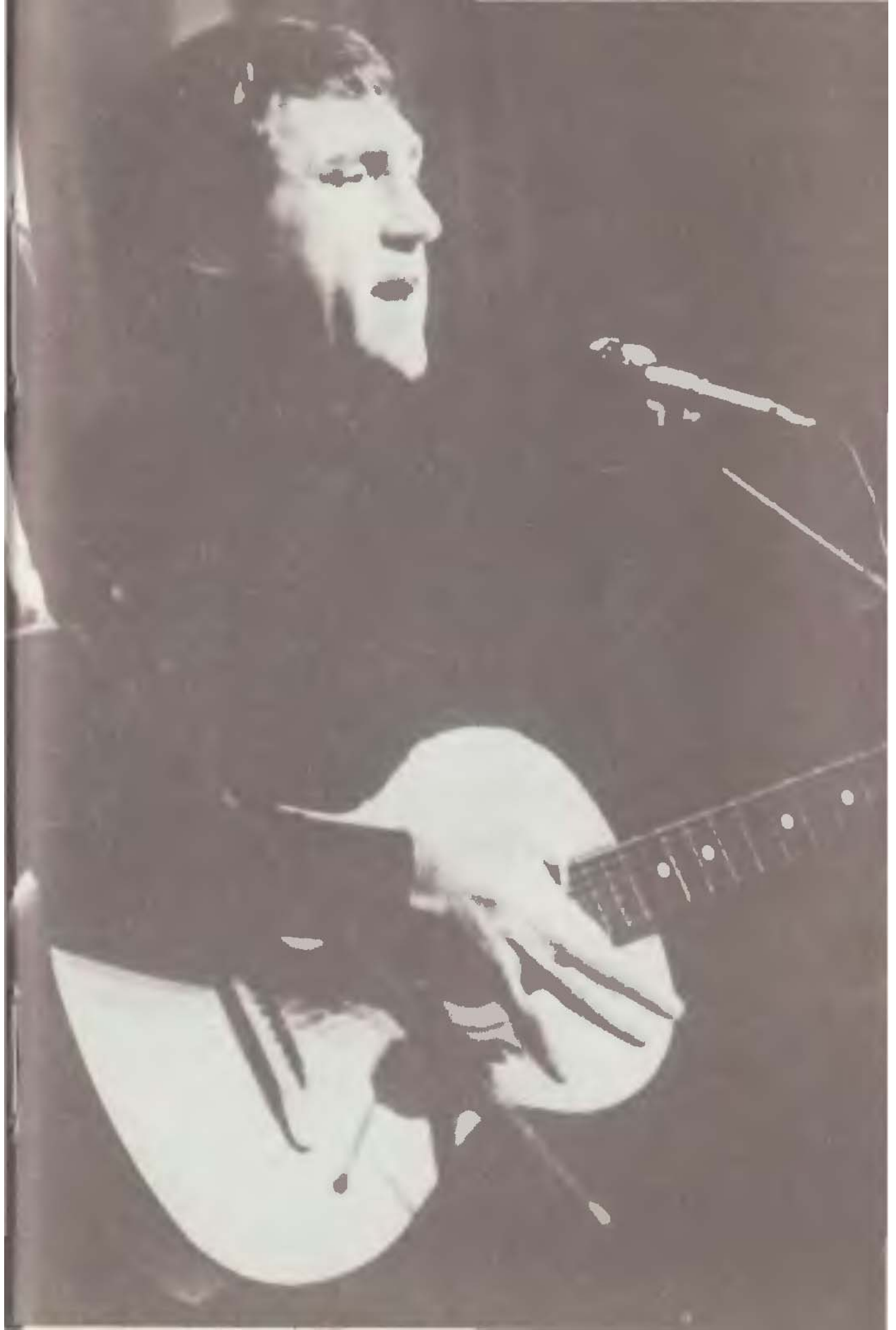






















СЛУЖБА ПЕРСОНАЛУ
ВУЗОВ И НИИ













ОСЛОБДИТЕЛЬНО



УСТРАШЕНА ПОС

В ШКОЛУ ВЫСОКОГО

ОСОБОЕ ЧУВСТВО

Б-ОБЛА ПО ИТ-ЛОМУ



В ШКОЛУ ВЫСОКОГО



ТАКОМ ЗАПОВЕДИ

ТАКИМ ЗАПОВЕДИ





Пел, как кричал? Потому что что-то в нем кричало. Хриплый голос? А может, охрип — так старался, чтобы услышали.

Если ты работал над книгами народной памяти, и стоят пвред глазами люди, которых ты записывал, и звучат их голоса, — ты и Высоцкого будешь воспринимать по-своему. И его песни — как крик памяти народной.

А что, разве вот это: «Кто сказал, все сгорело дотла...» или «Протопи ты мне баньку по-белому...» — не полный боли голос народной памяти?

Помните, у Виталия Семина — о молодом парне, вчерашнем школьнике, что вернулся из концлагеря: «Кричал я, наверное, дня два... Мать глядела со страхом. Потом позвала мою двоюродную сестру... Они с матерью долго слушали меня, потом Аня сказала так, как будто меня не было в комнате:

— Они все теперь кричат. Перекричит и будет нормальным парнем. Постарше Сергея паренек вернулся у наших соседей, дня четыре кричал, теперь отпустило...»

Потом не кричали и даже рассказывать перестали, хоть память саднила.

И адруг — голос, песни Владимира Высоцкого. За нас за всех — крик. Так удивительно ли, что народ (не одно, не только молодое поколение!) признал своим и Высоцкого, и голос его? Да как еще признал!

На фотоснимке: Володя и Марина приехали к нам в киногруппу «Сыновья уходят в бой» (1969 год). Снимали мы фильм на Новогрудчине.

Песни для фильмов Виктора Турова Высоцкий писать начал давно — «Я родом из детства», «Война под крышами». Помню, как года за два-три до новогрудских встреч приезжал Высоцкий в Минск, даже снимался в нашем первом фильме «Война под крышами», но потом его «вырезали» (те, кто и все кино «резали без ножа», ибо лучше, чем художники и чем сам народ, знали, «что нужно народу»). Песни же были озвучены «профессиональным» голосом.

И вот теперь он приехал в нашу киногруппу с Мариной Влади, для которой Новогрудчина — таинственная родина ее отца. Через неделю она нас с Виктором Туровым упрашивала:

— Ну, уговорите Володю, чтобы он не торопился отсюда!

Мы поселили их не в районной гостинице, где жили сами, а в деревне: ночлег на сене, под крышей крестьянского хлева, внизу всю ночь по-доброму вздыхает корова, задумчиво жуя жвачку...

Парижаночка была в восторге:

— Ну, уговорите Володю!..

Время от времени они приезжали, приходили к нам в «партизанский лагерь», молодые, счастливые друг другом и каждый — талантом другого.

Сохранились и кадры узкоплечного любительского фильма. Да только немые. А в это время «партизанский лес» гремел песнями Высоцкого. Их не только слышишь, а как бы видишь: с набухшими, — вот-вот порвутся, —

венами на шее, покрасневшими от напряжения глазами... А сам Высоцкий стоит тут же, разговаривает, усмехается — по-юношески светлый, дружелюбный. Голос неожиданно тихий. Больше слушает, чем говорит.

Привозил ли он их нам готовыми, песни к первому и ко второму фильмам — «Аисты», «У нас вчера с позавчера шла спокойная игра», «В темноте», «Он не вернулся из боя», «Песня о Земле», «Сыновья уходят в бой», — или, может, сочинял тут же, на месте? Я так и не могу сказать точно.

Вот они все (кроме одной) — на пластинках, что недавно выпущены в свет под общим названием «Сыновья уходят в бой».

Действительно, мы не успели оглянуться... И живое стало историей. Как говорится в одном не очень веселом рассказе Антона Павловича Чехова: «Как же быстро оно все делается!..»



Премьера «Гамлета» на Таганке состоялась 19 ноября 1971 года. Прошло пятнадцать лет, но спектакль живет в моей памяти. Я не «записывал» его, как делают некоторые критики, но навсегда осталось переживание, испытанное тогда. Тяжелый шерстяной занавес, двигавшийся как живое существо... Но, конечно, в центре всего был Высоцкий-Гамлет.

Он сидел на полу у задней стены ярко освещенной сцены, весь в черном; в руках — гитара... Если датский принц и ассоциируется с каким-нибудь музыкальным инструментом, то, может быть, с флейтой, той, на которой не умеет играть Гильденстерн, пытавшийся тем не менее «играть» на Гамлете. Но — гитара?!

...Когда Театр на Таганке делал первые шаги, я участвовал в вечере, устроенном в Политехническом музее, где, в качестве критика, предварял и объяснял публике своеобразие нового театра, многими встреченного в штыки. Между актерами, читавшими «Антимиры» А. Вознесенского, и частью зрителей чуть не возникла драка, которую мне удалось остановить. Учтя этот опыт, директор театра Н. Дупак попросил меня открыть вечер Высоцкого в московском Доме актера. Без ложной скромности скажу: я опытный оратор. Но в тот вечер мне пришлось испытать нечто для себя новое: я совершенно не мог овладеть аудиторией. Из зала шли волны настроения, которое нетрудно было разгадать: у всех была одна мысль — когда же он (то есть я)

закончит и появится Высоцкий. Уступая нетерпению собравшихся, я скомкал тщательно продуманное выступление и ушел под жидкие хлопки.

Я говорил перед занавесом, теперь он отодвинулся и все увидели сидящего на стуле Высоцкого с гитарой...

С нею же появился он в начале трагедии Шекспира.

Так сразу определилась сущность нового Гамлета. И Высоцкий, и гитара—в «Гамлете» для мысливших «академически» были кощунством. Но для тех, кто жил современностью, спектакль и образ героя сразу обретали определенность. Это наш Гамлет, человек нашего времени. Было известно: все Гамлеты всегда страдали оттого, что «пала связь времен», оттого, что «время вывихнуло суставы», оттого, что «разложен жизни ход». Этот Гамлет будет страдать от болей и мук нашего времени.

Тема подчеркивалась смело введенным в зачин трагедии стихотворением Бориса Пастернака «Гамлет». К тому времени останки поэта давно уже покоились на кладбище в Переделкине, но не забылась трагедия последних лет его жизни. Напомню стихотворение, исполненное Высоцким под звуки гитарных аккордов:

Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси...

...Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Стихи о том, что человеку выпало жить в тяжкое и бурное время. Ему хотелось бы избежать рожденных веком бед, но они неотвратимы. Одинок Гамлет, одинок герой пастернаковского романа, от лица которого написаны эти стихи. Поэт понял муки далекого датского принца и близкого ему русского интеллигента. Он сам пережил страшное чувство: «Я один, все тонет в фарисействе».

Когда на сцене не искажают Шекспира, Гамлет всегда стоит перед морем бед, подверженный бичам и стрелам яростной судьбы. Он с горечью сознает: «Быть честным при том, каков этот мир, значит быть выуженным из десяти тысяч». Так или иначе, это присуще всем Гамлетам. Но дальше оказывается: Гамлет Гамлету — рознь.

О Высоцком сразу скажешь одно: он «гамлетизмом» не страдал. Еще до того, как умер отец и одно за другим обрушились потрясавшие других Гамлетов события — поспешный второй брак матери, открытие, что отец убит собственным братом, и т. д., — этот Гамлет уже знал, каков мир. Его жизненный опыт совпадал с тем видением мира, которое пронизывало знакомые нам песни Высоцкого. Актер играл человека с нашим умонастроением. Он как поэт уже воплотил его в трагические, саркастические, иронические, насмешливые песни.

Гамлет с Таганки — не изоциренный интеллеktуал, а человек прямой, чей острый ум разит

беспощадно. Размышление не делает его трусом. Мысль, слово — его оружие, а он прирожденный борец. Почти все окружающие прикрывают истинное лицо маской. Гамлет срывает маски, обличает все окрестное фарисейство — государственное, воплощенное в короле-убийце и его министре Полонии, и, если можно так сказать, приватное — определим так любовь и брак Гертруды.

Бороться в одиночку с миром зла трудно. Движущая стена-занавес символизирует те силы, которые неподвластны человеку. Она то помогает Гамлету, то мы видим, что он почти в отчаянии цепляется за нее, пробует повернуть ее против своих врагов. Она способна смести их, подобно бульдозеру, сгребаящему все, что попадает на его пути. В финале — и сметает...

У шекспировского Гамлета нет той ярости, какая подчас овладевает принцем с Таганки. Он почти задыхается от возмущения, но голос его и в это время грохочет! Это ярость, это святой гнев на тех, кто искажает жизнь, — та же ярость звучала в трагических песнях Высоцкого.

Гамлет притворяется безумным. Такой маскарад помогает ему издеваться над противниками, говорить им в лицо правду, как тогда, например, когда он витиевато объясняет королю, что тот легко может стать пищей червей. Высоцкий прекрасно владел этим приемом — пользоваться разными масками, чтобы сказать правду.

Гамлет сам обрекает себя на одиночество. Он ведь поклялся стереть с памятной доски «все знаки чувствительности». Стереть, вычеркнуть надо и любовь. Он настолько отдается борьбе, что борется и с собственной любовью. Только у

гроба Офелии он признается, что сорок тысяч братьев не могли бы любить ее так, как он.

Вокруг Гамлета — смерть. У Шекспира могильщики появляются незадолго до финала. На сцене они — с самого начала спектакля. Гамлет и сам играет черепами, поднося их Розенкранцу и Гильденстерну. Но в сцене на кладбище смерть перестает быть игровым символом. Гамлет видит ее страшную реальность. Вспоминается интонация Высоцкого в вопросе: «Как ты думаешь, у Александра Македонского был вот такой же вид в земле?» Вопрос как бы риторический — Гамлет знает ответ, но в голосе ирония, горечь, недоумение. Неужели и зачем — все кончается так?

Почти все вокруг Гамлета не просто благополучны — они царят в жизни и им кажется, что они бессмертны. А Гамлет знает: они уже прах. Как говорит Первый могильщик — иные начинают разлагаться еще до своей кончины. Может быть, самое устрашающее — лицо королевы, когда она встречается с Гамлетом в своей спальне. Женщина приготовилась ко сну и совершила обычный туалет немолодой дамы — густо покрыла лицо кремом. Белые полосы на щеках превратили лицо королевы в подобие черепа.

Беседа Гамлета с матерью обозначила особый поворот темы смерти. В середине этой сцены Гамлет убивает Полония, и с этого момента сам как бы принадлежит царству, порождающему смерть.

Спектакль заканчивается, как положено, тем, что погибают все главные участники трагедии. Они умерщвлены той Данией-тюрьмой, которую сами создали, поддерживали и старались сохранить.

Иначе уходит из жизни Гамлет Высоцкого. Зло, в начале смутно различимое, становится все более конкретным. Чем яснее Гамлет видит это зло, тем решительнее он в своей борьбе. Чем ближе трагедия к концу, тем победительнее становится Гамлет-Высоцкий. Он все больше сознает свою правоту, и вместе с ним чувствуем это мы, зрители. На его стороне правда. И опять образ датского принца сливается с образом поэта, а не только актера. Негодует Гамлет—и Высоцкий, издевается Гамлет — и Высоцкий, скорбит Гамлет—и Высоцкий. Гибнет и побеждает Гамлет—и Высоцкий.

23

АПРЕЛЯ 1964 г.

23

АПРЕЛЯ 1979 г.

НАДВИЖИТЕСЬ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН МАССОВЕТА



НА ТАГАНКЕ

200

СПЕКТАКЛЬ

18

АПРЕЛЯ
1979

В. Шекспир

ГАМЛЕТ

Перевод Бориса Пастернака

Постановка **Юрия Любимова**

Художник — **Давид Боровский**

Композитор — **Юрий Буцно**

В. Буцно, Давид Боровский

ДИСТУЖИЩЕ ЛИБА - МЕГРИНТЕЛ
КЛАВДИИ, КОРОЛЬ ДАТСКАЯ
ГЕРТРУДА, КОРОЛЬ ДАТСКАЯ
МАТЬ ГАМЛЕТА
ГАМЛЕТ, СЫН ПРЕЖИГО
...
А ДЕМОНОВА КОМ
В ШКОЛКЕ КОМ
...
...
...

Голос — всегда изъявление души. Голос Высоцкого — щедрый, расточительный подвиг. Но других — расчетливых, скарредных — подвигов и не бывает.

Высоцкий сделал для нас все, что мог, что же мы можем сделать для Высоцкого? Ведь ему ничего не нужно... Недавно мне предложили предварить несколькими словами альбом пластинок, где звучат стихи Высоцкого.

«Фирма „Мелодия“ предлагает Вашему вниманию...» Я написала эти слова, и рука моя надолго остановилась.

Темнело, светало, таяло, морозило, шел снег — я не умела продолжить. Но почему? Казалось бы, все волшебным образом просто. Фирма «Мелодия» делает Вам и мне, нашему общему неисчислимому множеству драгоценный подарок...

Когда-то, давно уже, я поздравляла читателей «Литературной газеты» с Новым годом, с чудесами, ему сопутствующими, в том числе с пластинкой «Алиса в стране чудес», украшенной именем и голосом Высоцкого.

А Высоцкий горько спросил меня: «Зачем ты это делаешь?» Я-то знала — зачем. Добрые и доблестные люди, еще раз подарившие нам чудную сказку, уже терпели чье-то нареkanie, нуждались хоть в какой-нибудь поддержке и защите печати.

И еще один раз Высоцкий так же горько и устало спросил меня: «Зачем ты это дела-

ешь?» — когда в альманахе «День поэзии» было напечатано одно его стихотворение, сокращенное и искаженное.

Мне довелось принять на себя жгучие оскорбления за отношение к нему как к независимому литератору. Я знаю, как была уязвлена столь высокая, столь опрятная его гордость.

Я хочу еще восславить артиста. Говоря «артист», я имею в виду нечто большее, нежели просто доблестное служение сцене, театру. Привыкши искать опоры лишь в уме своем или где-то в воздухе, — а воздух этот для меня сейчас благоприятен, — я хочу сослаться на что-нибудь, найти какие-то слова...

И вот я нахожу их. Это скромно и робко написано мною о Борисе Пастернаке.

Из леса, как из-за кулис актер,
Он вынес вдруг высокопарность позы,
При этом не выгадывая пользы
У зрителя — и руки распростёр.

Он сразу был театром и собой,
Той давней сценой, где прекрасны речи.
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи
Уже восходит фосфор голубой.

Вот так играть свою игру — шутя!
Всерьез! до слез! навеки! не лукавя! —
Как он играл, как, молоко лакая,
Играет с миром зверь или дитя...

Нечаянно вспомнив эти свои строки, я хочу соотнести их с той моей уверенной мыслью, что Владимир Высоцкий по урождению своему прежде всего был Поэт. Таков был способ устройства его личности, таков был сюжет его судьбы. В эту его роль на белом свете входят доблесть, доброта, отважная и неостановимая спешка пульсов и

нервов, благородство всей жизни. Таков всегда удел Поэта.

50

Вот уже восьмой год как пекло боли остается безутешным, и навряд ли найдется такая мятная прохлада, которая когда-нибудь залижет, утешит и обезболит это всегда полыхающее место.

Мандельштамом сказано — боюсь, что недостаточно грациозно воспроизведу его формулу, — но сказано приблизительно вот что: смерть поэта есть его художественное деяние. То есть смерть поэта — не есть случайность в сюжете его художественного существования. И вот, когда мы, желая утешить себя и друг друга, применяем к уже свершившейся судьбе какое-то сослагательное наклонение, может быть, мы опрометчивы. Если нам исходить из этой истины, что главное в Высоцком — это его поэтическое урождение, его поэтическое устройство, тогда мы поймем, что препоны и вредоносность ничтожных людей и значительных обстоятельств — все это лишь вздор, сопровождающий великую судьбу.

Чего бы мы могли пожелать Поэту? Разве когда-нибудь Поэт может обитать в благоденствии? Нет. Сослагательное наклонение к таким людям неприменимо. Высоцкий, несомненно, вождь своей судьбы. Он — предводитель всего своего жизненного сюжета.

Я полагаю его судьбу совершенной, замкнутой, счастливой. Потому что никаких поправок в нее внести невозможно. Несомненно, что его опекала его собственная звезда, перед которою он не провинился. И с этим уже ничего не поделаешь, тут уже никаких случайностей не бывает. Все, что сопутствовало Поэту в его столь возвышенном, доблестном и столь трудном суще-

ствовании,— все это какие-то необходимые детали. Да, редакторы ли какие-то, чиновники ли какие-то — но ведь они получаются как бы необходимыми крапинками в общей картине трагической жизни Поэта. Без этого никак не обойдешься. Видимо, для этого и надобны.

То, что ему приходилось так много быть на сцене,— за это воздалось ему всенародной славой. Он был всенародно любим, слава его неимоверна. Но что, собственно, есть слава? Это ведь еще и доюка, это еще и усугубление одиночества человека, которому нужно выбрать время, сил и доблести для того, чтобы сосредоточиться и быть наедине с листом бумаги...

Теперь, когда рукописи Владимира Высоцкого открыты — сначала для тех немногих, кто этим занимался в интересах будущего, а потом, надеюсь, все это будет доведено до сведения множества читателей,— теперь видно, как он работал над строкой, как он относился к слову. И единственное, что я могу сказать в утешение себе,— то, что я всегда ценила честь приходиться ему коллегой, я всегда пыталась хоть что-нибудь сделать, чтобы не скрыть его сочинения от читателей.

Мы еще мало преуспели в этом. Но путь Поэта не соответствует тому отрезку времени, в который уместается его жизнь. Самое главное — это потом... И сейчас можно удостовериться, что разлука, которую с таким отчаянием, с таким раздиранием души все время переживали соотечественники и современники Высоцкого не только из-за его смерти, а еще из-за того, что как будто какая-то препона стояла между ним и теми, для кого он был рожден и для кого он

жил,—эта разлука таит в себе еще и радость новых встреч.

52

Владимир Высоцкий—это наше неотъемлемое достояние, и не будем предаваться отчаянию, а напротив, будем радоваться за отечественную словесность.



Я встретился с Высоцким впервые, когда пришел работать в Театр на Таганке, в 1968 году. До этой встречи я толком ничего не знал о нем. Слышал две-три песни в плохой записи на плохом магнитофоне, слов почти не разобрал, а хриплый голос счел технической погрешностью при записи.

Поэтому, когда в театре я услышал его голос «вживую», был поражен... «Черт возьми, откуда это?!»

Мы познакомились, и выяснилось, что он знал обо мне больше, чем я о нем. Видел, оказывается, вышедший в начале 60-х годов довольно средний фильм «Исповедь», где я играл главную роль. Помнил общежитие на Трифоновке, куда я заходил к однокурсникам. Утверждал, что мы там с ним якобы вместе пели «Злая мачеха у Кати, отняла ее наряд...» (убей бог, я не мог этого вспомнить!).

Сошлись мы пегко. Может, это произошло от первоначального сходства наших московских биографий. Наше послевоенное существование тоже было во многом похожим. И он и я, в сущности, уличные мальчишки, не знавшие особой узды. Как и у него, у меня тоже была коммуналка, где «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная». Был и свой метростроевец, и ребята из «ремеслухи», и свои главари, самые отчаянные,—одного из моих звали «Садко», а другого, как и Володиного,—«Чита». Ходили они

в начищенных и приспущенных «прохорях», а потом надолго исчезли со двора, в «тюремных коридорах».

Наверное, такие общие биографические истоки способствовали пониманию и симпатии друг к другу. Потом все переросло в дружбу. Немаловажную роль сыграло, по-видимому, и то обстоятельство, что Володе импонировала моя любовь к стихам. Ему очень нравилось, что я знаю их довольно много. Смею думать, что он относился ко мне уважительно и как к актеру. На одной из премьерных афиш сделал надпись, которой я горжусь: «Ивана Бортника, русского человека — в жизни и на сцене, — поздравляю любовно и дружески».

Слову «дружба» Володя придавал очень большое значение. Как и талант, дружбу он считал редчайшим даром. Сам он был предан друзьям. Людей, к которым так относился, было немного.

Дабы не выдохнуться в рассуждениях, перехожу к прямой речи. Письмо из Парижа:

«Дорогой Ваня! Вот я здесь уже третью неделю. Живу. Пишу. Немного гляжу кино и постигаю тайны языка. Безуспешно... Память моя с трудом удерживает услышанное. Отвык я без суеты; развлекаться по-ихнему не умею, да и сложно без языка. Хотя позднее, должно быть, буду все вспоминать с удовольствием и с удивлением выясню, что было много интересного. На всякий случай записываю кое-что, вроде как в дневник. Читаю. Словом, все хорошо. Только кажется, не совсем это верно говорили уважаемые товарищи Чаадаев и Пушкин: „Где хорошо, там и отечество“. Вернее, это полуправда. Ско-

рее — где тебе хорошо, но и где от тебя хорошо.
А от меня тут — никак...

56

Ах, милый Ваня — мы в Париже
Нужны, как в бане — пассатижи!

Написал я несколько баллад для „Робин Гуда“, но пишется мне здесь как-то с трудом, и с юмором хуже на французской земле».

Насильственные комментарии здесь, по моему, неуместны. Приведу лучше такой факт. Не помню, в каком точно городе, где мы с Володей были на концертах, произошел такой случай. Наше выступление начиналось фрагментом из спектакля «Павшие и живые»: Высоцкий пел свои военные песни, а я читал стихи «военных» поэтов. На сцене мы стояли вместе, рядом.

Обычно Володя пел «Братские могилы», «Тот, который не стрелял», «Всю войну под завязку...», а заканчивал «Случаем в ресторане» («В ресторане по стенкам висят тут и там...»).

А винтовку тебе? А послать тебя в бой?!

А ты водку тут хлещешь со мною!..

Я сидел, как в окопе под Курской дугой,

Там, где был капитан старшиною...

В этом месте у меня всегда мурашки по спине — так он пел.

...Он всё больше хмелел, я — за ним по пятам.

Только в самом конце разговора

Я обидел его, я сказал: «Капитан!

Никогда ты не будешь майором!»

Когда он заканчивал это, зал обычно сразу взрывался аплодисментами. А тут возникла какая-то странная пауза. И вдруг из второго или из третьего ряда поднялся человек и пошел по проходу к сцене. Я успел разглядеть его. Невысокого роста, пожилой, в поношенном темном

пиджаке, на лацкане — Звезда Героя Советского Союза. Он подошел к сцене, неловко поклонился Володе, шепотом сказал «спасибо», хотел еще что-то сказать и вдруг зарыдал.

Володя растерялся. У него дернулся подбородок, он сделал шаг вперед, снял с себя гитару, передал ее мне и спрыгнул вниз. У меня тоже перехватило горло.

Володя обнял подошедшего за плечи и, что-то ласково говоря, проводил его на место. И все это — под бешеные аплодисменты зала. Потом снова поднялся на сцену. Я отдал гитару и, глотая слезы, быстро ушел за кулисы. А он подошел к микрофону и поднял руку. Возникла тишина.

«Спасибо,— сказал он и, секунду помолчав, повторил:— Спасибо. Я сегодня попою вам подольше». Пел он в тот вечер больше двух часов! Его и после этих двух часов долго не отпускали. Он стоял уставший, улыбающийся, довольный и повторял в микрофон: «Я к вам обязательно еще раз приеду, обязательно!» Повторю снова его слова из письма: «Где тебе хорошо, но и где от тебя хорошо».

Мне доставит большое удовольствие предложить «эпистолу» совсем другого плана. В этом письме слышится мелодия его раскованного, живого и ставшего для многих привычным голоса. Читаю и ясно слышу этот его вкрадчивый, ласковый голос: «А знаешь ли ты, незабвенный друг мой, Ваня, где я? Возьми-ка, Ваня, карту или лучше того — глобус! Взят? Теперь ищи, дорогой мой, Америку... Да не там, это, дурачок, Африка. Левее! Вот... именно. Теперь найди враждебные США! Так. А ниже?! А ниже —

Мексика. А я в ней. Пошарь теперь, Ванечка, пальчиком по Мексике, вправо, до синего цвета. Это будет Карибское море, а в него выдается такой еще язычок. Это полуостров Юкатан, тут жили индейцы майя, зверски истребленные испанскими конкистадорами, о чем свидетельствуют многочисленные развалины, останки скелетов, черепа и красная, от обильного полития кровью, земля.

На самом кончике Юкатана, вроде как типун на языке, есть райское место Канкун, но я не там. Мне еще 4 часа на парходике до острова Косумель—его, Ваня, на карте не ищи—нет его на карте, потому что он махонький, всего как от тебя до Внуково. Вот сюда и занесла меня недавно воспетая „Нелегкая“...» (напомню «Две судьбы мои—Кривая да Нелегкая...»). Шутливый, слегка подначивающий тон, и вдруг — совсем иная струя.

Не припомню, чтобы песня «Две судьбы» исполнялась автором в каком-нибудь концерте. В то же время мало какая из работ Высоцкого имеет такое большое число черновых вариантов. В течение целого года он возвращался к ней снова и снова. Это говорит о многом. А о чем, можно было понять или хотя бы почувствовать только в общении.

Не секрет, что душевная неустроенность почти невыразима в понятиях. Но у поэта понятие существует через поэтический образ. Ну, а образ «Кривая и Нелегкая» уже давно живет, он в народной памяти, в народном языке, в фольклоре, наконец. Растворить этот образ в себе, пропустить через себя—трудно. Тут—какая-то исповедь.

Прослушивая заново «Две судьбы», невольно принимаешь версию автора, который в песне напоил медовухой и «Кривую», и «Нелегкую» и тем избавился от них. А перестал звучать голос — и возникает боль. Начинаешь думать, думать, а боль не проходит. Кажется, он так и не избавился от этих двух своих спутниц. Хотя и мечтал избавиться. Так они его и не отпустили.

К этой теме, пользуясь образами, хорошо известными в русской традиции, Высоцкий обращался не раз. Вспомните хотя бы:

Я зарекался столько раз,
Что на судьбу я плюну.
Но жаль ее голодную:
Ласкается-дрожит,
И стал я, по-возможности,
Подкармливать фортуна —
Она, когда насытится,
Всегда подолгу спит.

Дело не только в предощущениях. Предощущение бывает, наверное, у каждого, а у поэта оно, вероятно, более острое. Часто он предугадывает, порой даже в деталях, то, что может произойти, видит, что происходит, и все равно вмешивается в этот процесс, хочет повернуть его, хотя бы немного, в желаемую сторону. Понятие судьбы редко кем расшифровывается «мелочами жизни». А ведь жизнь из каких-то досадных, мешающих деталей во многом и состоит.

Высоцкий не был избалован добрым отношением со стороны людей, от которых что-либо зависело в его делах. И был благодарно отзывчив на доброе отношение, тем более когда оно проявлялось нежданно и вполне реально.

Как-то весной мы ехали в его машине по Садовому кольцу. Вдруг Володя прибавил скорость и, встав вровень с чьей-то «Волгой», просигналил. Я взглянул налево и узнал сидевшего в машине Сергея Михалкова.

Володя опустил окно и, перекрывая шум улицы, закричал: «Сергей Владимирович, здравствуйте! Я—Высоцкий! Большое спасибо за „Алису“! За то, что Вы говорили на худсовете!» Все это он выпалил одним махом и, «газанув», вырвался вперед. Я оглянулся и увидел растерянного от такой незапланированной встречи Михалкова и сидевшего рядом с ним шофера, который улыбался во весь рот.

Зло в судьбе Володи часто было как бы безликим, невидимым и непонятным. В отношениях с Высоцким особенно настороженно держались всякие чиновники. Наверное, они полагали, что подножки поэту—важнейшее государственное дело. Ну, а как же должен был сам Высоцкий относиться к «баобабам», то и дело выраставшим на его пути?

Весной 1977 года по согласованию с Министерством культуры СССР он должен был ехать в Париж, для того, чтобы записать пластинку на французской фирме «Le chant du Monde». Готовился он к этой записи очень ответственно. Им был тщательно отобран репертуар. Список песен, выбранных для исполнения, он представил в Министерство культуры. Однако там, в последний момент, несколько песен вычеркнули из списка (почти все эти тексты были опубликованы в первом же его посмертном сборнике «Нерв»).

Володя очень тяжело переживал это. Хотел даже отменить поездку, однако все же решил

ехать, посчитав, что оставшиеся в списке песни — лучше, чем ничего.

Я провожал его в Шереметьево. Он был простужен и боялся, что будет хрипеть на записи. Вновь возвращался к вычеркнутым песням, особенно жалея, что не будет записывать «Тот, который не стрелял...».

Я пытался его успокоить, говоря какие-то жалкие слова — что, мол, сам по себе случай, когда Министерство культуры посылает советского певца записывать песни во Францию, не такой уж частый и вообще, мол, «пройдет, терпи, все ерунда», мало ли чего случается...

После выхода пластинки он подарил мне ее, написав: «Ваня! Вот и случилось! Слушай на здоровье. Обнимаю. Володя».

Слушаю, Володя! Замечательный получился диск! Одна «Песня о Земле» чего стоит!! А по первой программе Всесоюзного радио (вот уж, действительно, случилось!) передают записи именно с этой пластинки.

Темы, ассоциации, повороты поэтической мысли Володя никогда не занимал у литературных авторитетов. Некоторые из этих авторитетов свысока похлопывали по плечу. «дворового поэта», озадаченные неожиданными метафорами и сравнениями. Вообще же, люди осторожные, заносчивые, скучные, аморфные в творчестве и жизни раздражали его. А иные — настораживали. Припоминаю любопытный разговор об одном из актеров нашего театра. «А знаешь, — сказал Володя, — ведь он поклялся, что будет знаменитее меня. Я-то думал, что он просто умненький мальчик, а он, оказывается, еще и тщеславненький...» Потом немного помолчал и добавил: «А

что, Ванятка! Это ведь тоже цель. А может быть, и средство...»

62

Невольно вспоминается пастернаковское:

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.

Он работал на «накале страстей» и любил людей, которые способны, по его выражению, «истратить себя до сердца». В его сердце не нашлось даже самого укромного уголка для «позорного благоразумия». Но такая сжигающая, безоглядная самоотдача, такая «трата себя до сердца» имеет свои пределы.

Понимал ли он это? Есть у меня фотография — сцена из «Гамлета», где Володя держит череп королевского шута. Помню, как, немного подумав, Володя сделал такую, вроде бы шутливую, надпись: «Ваня! Давай подольше не пойдем к Йорику!»

В моем сознании время придало этой надписи какой-то мистический оттенок, тем более, что фотографию он подарил мне за год до своей смерти. Надпись можно воспринять по-разному. Писатель Станюкович как-то заметил, что истинно русские люди часто шутят над вещами далеко не смешными.

У Володи была любопытная черта: он очень ревниво относился к своим друзьям и друзьям своих друзей. Я очень горжусь тем, что он любил меня, «был со мной на ты», и тоже ревниво отношусь к памяти о нем и перипетиям его короткой и страстной жизни. С присущим ему тактом Володя, при каждом случае, требовал страстности и от других, даже от людей, еще не вовлеченных в житейский оборот. К примеру, обращаясь к моему малолетнему сыну, он напи-

сал на пластинке «Алиса в стране чудес»: «Федя! Будь сильным, умным и добрым и будешь бывать в стране чудес часто!» Здесь, мне кажется, перечислены качества, которыми обладал он сам. Однако только ими не следовало бы ограничивать его духовный портрет: оттенки его ярчайшей и сложной души были неизмеримо богаче и многомернее.

...Этот небольшой и несовершенный этюд, в котором я впервые попробовал, без домысла и художественности, немного рассказать о человеке, ставшем частью моей жизни, я хочу закончить и украсить словами Беллы Ахмадулиной, искренности которой Володя очень доверял:

«Жизнь художника исчисляется не очевидной длиной, но объемом значения. Ее скоропалительная протяженность отнимает у друзей и современников житейское блаженство встреч, созерцание милого земного существа, но прибавляет дорогому образу, и образу таланта вообще, черту исключительной драгоценности... Безмерность печали усугубляет наше обожание к Владимиру Высоцкому, осуществившему свою жизнь не как вялую действительность, а как сильный поступок плодородного и расточительного сердца».





Детская тяга к рыцарскому героизму сразу же, с самого начала оделась у него в солдатскую шинелку.

Иной раз казалось, что он знает о войне больше, чем мы.

Над нами шквал.

Он застонал,

И в нем осколок остывал.

В живом? В убитом? Раненый не думал об этом, убитый не ведал.

— У меня в семье есть погибшие и те, которых достали старые раны, они погибли позже,—говорил он.

— Стараюсь выбирать людей, которые находятся в самой крайней ситуации, в момент риска, если он может в каждую следующую секунду заглянуть в лицо чему-то неведомому... Людей на грани слома, а короче говоря, тех, которые нервничают и беспокоятся, а не тех, которые жуют и отдыхают.

— Ваша любимая песня?—спросили его на пятигорском телевидении.

— «Вставай, страна огромная»,—ответил он.

В его песнях поколение воевавших, отцы и старшие братья, — навсегда ему ровесники. «Мы»,—говорит он.

Когда же хмельной капитан оскорбил его отъединением от отцов и братьев («Я всю жизнь отдавал за тебя, подлеца, А ты жизнь прожигал

ешь, паскуда»), когда коснулся того, чего не смел, тогда —

Я обидел его, я сказал: «Капитан!
Никогда ты не будешь майором».

67

Он был очень конкретен в своих песнях о войне. Этот солдат, этот разведчик, этот летчик. В то же время и непременно — о Земле.

В XX веке стало распространенным выражением: «мировое». Употребляли уже как обычное — первая мировая война, вторая мировая война. Появилось: «Земля людей». Вот такой Землей, планетой людей была она для Владимира Высоцкого.

Шар земной я вращаю локтями
От себя, на себя, на себя!

Земля тогда была бескрайним полем боя.
Земля теперь может стать жертвой последней войны.

Материнства не взять у Земли,
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что Землю сожгли,
Нет, она помернела от горя.

Детская, потом юношеская романтика не оставляла Высоцкого долго. И тут он шел до предела, как и во всем.

В первом, давнем варианте песни было так:

Когда я вижу сломанные крылья,
Нет жалости во мне. И неспроста
Я не люблю насилья и бессилья,
И мне не жаль распятого Христа.

В позднем варианте:

Я не люблю насилья и бессилья,
Вот только жаль распятого Христа.

В начальном варианте было так:

Я не люблю, когда стреляют в спину,
Но если надо, выстрелю в упор.

В позднем — не просто гуманней или зрелее, но — яростно, жестко:

Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

Казалось бы, почему — против? Ведь в упор — это честно, смело. Но он — против. Отвращение к убийству стало пожизненным его чувством. О том же, о выстрелах, с тою же болью:

Ну и забава у людей —
Убить двух белых лебедей!

Вот песня-гротеск. Трагикомические перевертыши действующих лиц. Какие слова он для этого находил! Вчитайтесь. (А ведь он еще бесконечно варьировал, разнообразил языковое богатство этих стихов. Я беру привычный мне вариант.)

Звери, забыв вековечные страхи,
С твердою верой, что всё по плечу,
Шкуры рванув на груди, как рубахи,
Падают навзничь — бери — не хочу.
Сколько их в кущах — столько их в чащах,
Ревом ревущих, рыком рычащих...
...Рыбы пошли косяком против волн —
Черпай руками, иди по ним вброд!
Сколько желающих прямо на стол,
Прямо на блюдо — и в рот!

Перед нами живность угодливая, в ампула почти человеческом. А люди — разнообразно звероподобные.

Но... сколько в дебрях, рощах и кущах
И сторожащих, и стерегущих,
И загоняющих — в меру азартных,
Плохо стреляющих и предынфарктных,
Травящих, лающих, конных и пеших,
И отдыхающих — с внешностью леших,
Сколько их — знающих и искушенных,
Не попадающих в цель, — разозленных,
Сколько бегущих, ползущих, орущих,

В дебрях и чащах, в рощах и кущах!
 Сколько дрожащих, портящих шкуры,
 Сколько ловящих на самодуры!
 Сколько их язвенных — столько всеядных,
 Сетью повязанных и кровожадных,
 Полных и тучных, тощих, ледащих
 В рощах и кущах, в дебрях и чащах!
 В чем же тут уродливый парадокс? Да в том,
 что

Все это вместе зовут — заповедник,
 Заповедь только одна — «Не убий!».

Он не может оправдать бой не на равных. Ни в каком случае. Даже если убивают тех, кто по природе — убийцы, хищники. Тогда Высоцкий вместе с ними. Он волк. Волк-жертва. Он больше чувствует несчастье, чем вину. Штрафной батальон у него — символ трагического героизма. Он не хочет разбираться, почему люди туда попали. Сейчас он ощущает, как свою, их готовность погибнуть за Родину, ставшую к ним суровой.

Ныне все срока закончены,
 А у лагерных ворот,
 Что крест-накрест заколочены,
 Надпись: «Все ушли на фронт».

А вот — охота на людей... Можно ли представить себе Высоцкого среди тех, кто охотится? Даже если это правомочно, законно? Песня от первого лица, и здесь один, за которым идет охота, для нас — сам поэт Высоцкий. И мы всеми силами души за то, чтобы пуля миновала его.

Девять граммов горячие,
 Как вам тесно в стволах.
 Мы на мушках корячились,
 Словно как на колах...

Сколько людей присвоили себе право убивать. Всесильные, они затеяли убить неубива-

емое, расстрелять вечное. Пришли в горы, где обитает веселое доброе эхо.

70

Зачем понадобилось расстреливать эхо? От злобы? Ради потехи? Чтоб не было свидетеля, разносящего слух? Метафора. Простая, она щемит сердце. Стреляют нелюди. Фашисты для Высоцкого не люди в победном своем марше, а лишь номера: первый-второй, первый-второй. А эхо — живое. Оно и сейчас несет нам голос Высоцкого.

Только в театральной роли он совершал убийства. В стихотворении «Мой Гамлет» он повинился в этом. Не оправдываясь, покался:

А мой подъем пред смертью есть провал.

Офелия! Я тленья не приемлю.

Но я себя убийством уравнивал

С тем, с кем я лег в одну и ту же землю.

Взял вину своего героя на себя.

Он особенно любил балладу «Тот, который не стрелял». Исполнял ее очень часто. Герой этой песни — разведчик, который добыл языка, а в часть довести не смог.

Мой командир меня почти что спас,

Но кто-то на расстреле настоял,

И взвод отлично выполнил приказ,

Но был один, который не стрелял.

Герой до такой степени дорог ему, что завершается баллада так:

Немецкий снайпер дострелил меня,

Убив того, который не стрелял.

В своих чувствах и поступках Высоцкий дольше других оставался человеком юношеских крайностей. Но невидимо, стремительно зрел его дар. Немногие, да и не сразу, поняли, что в России родилась поэзия высокого драматизма и мудрости.



I

Трудно передать, как много значил для меня Высоцкий. День 25 июля 1980 года разделил жизнь на две неравные части — до и после.

...Клянусь себя — одно не записал, другое не потрудился запомнить. И не оттого, что не понимал, кто со мной рядом. Но разве можно было предположить, что он, моложе на два года, наделенный природным здоровьем, уйдет из жизни раньше. Поэты проживают более эмоциональную, более страдальческую жизнь. Боль других — их боль. С израненным сердцем долго не выдержишь.

Небольшой архив все-таки сохранился. Письма, наброски сценариев, черновики песен, пластинки с дарственными надписями, театральные билеты на последний, уже не состоявшийся спектакль «Гамлет»...

Листаю старую записную книжку, натыкаюсь на такие строки: «Приезжал Володя. Субботу и воскресенье — на даче. Написал новую песню». Я встретил его тогда в аэропорту, в руках у него был свежий «Экран» — поля журнала исписаны мелкими строчками. Заготовки к новой песне — он работал и в самолете. Потом, на даче, когда все купались в море и загорали, он лежал на земле, во дворе дома, и писал. Мы готовили плов на костре. Чуть ли не перешагивали через него, а он работал. Вечером спел новую песню — «Час зачатия я помню неточно...».

Он заговорил, запел в начале шестидесятых. В это время Марлен Хуциев снимал знаменитую «Заставу Ильича». Фильм вышел в оскопленном виде и под другим названием. Из него вырезали, в частности, замечательный эпизод — вечер поэтов в Политехническом. Вечер этот снимался документально. На сцене молодые поэты: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Словно сама богиня поэзии — Белла Ахмадулина. Голова запрокинута назад, белая лебединая шея. Волшебным завораживающим голосом она бросает в зал слова: «Дантес иль Пушкин?..» В зале вместо массовки — истинные любители поэзии, молодежь шестидесятых годов. Высоцкого нет среди поэтов. Его нет на экране, не знаю, был ли он в том зале, но он где-то там, на улице, которая этот зал окружала.

Вот вышел на сцену Булат Окуджава со своей гитарой. Высоцкий был влюблен в него. Окуджава поднял уличную песню до вершин поэзии. Вернее, свои намеренно простые и глубокие стихи облек в форму уличной песни. Он сделал то, что потом так мощно разовьет и усилит Высоцкий.

Конечно, Высоцкий все равно бы запел. Но Окуджава указал путь.

И вот навстречу задумчивой доброте песен Окуджавы — охрипший голос солдата. Даже не голос — крик.

Сначала я услышал запись. Кто это? Откуда? Судя по песням — воевал, много видел, прожил трудную жизнь. Могучий голос, мощный темперамент.

И вот первое знакомство. Мимолетное разочарование. Передо мной стройный, спортивный,

улыбчивый московский мальчик. Неужели это тот самый?!

Но живой Высоцкий оказался интереснее ображаемого. Запись сохранила голос, интонацию, смысл песни. Но как много добавляла к этому живая мимика, выразительные глаза, вздущиеся от напряжения жилы на шее. Он никогда не исполнял свои песни вполсилы. На концерте, дома перед друзьями, в палатке на леднике, переполненному ли залу или одному-единственному слушателю — он пел и играл, выкладываясь полностью, до конца.

Мне повезло, как немногим. Счастливая звезда свела меня с ним на первой же картине. Потом было еще несколько фильмов, еще больше — замыслов. А между ними — самое незабываемое — тесное общение, просто так, без повода...

Летом 1966-го мы снимали «Вертикаль» на Кавказе.

Актерам пришлось пожить недельку в палатке под ледником. Надо было набраться альпинистского опыта, почувствовать горы. Особенно Володе. Мы очень рассчитывали на песни, которые он напишет.

В это время на пике «Вольная Испания» случилось несчастье — погиб альпинист. Товарищи безуспешно пытались снять его со стены. Шли дожди, гора осыпалась камнепадами. Ледник под вершиной напоминал поле боя — кто-то вел раненого товарища, кого-то несли на носилках. Палатка, в которой жили актеры, превратилась в перевязочный пункт.

Происходило нечто значительное и драматическое. Можно было подождать неделю, пока

утихнет непогода,— в конце концов, тот, ради кого рисковали жизнью эти люди, все равно был мертв. Но нет, альпинисты упрямо штурмовали вершину. Это был вызов. Кому? Володя жадно вслушивался в разговоры, пытался схватить суть, понять, ради чего все это... Тогда родилась первая песня:

Да, можно свернуть,
Обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа...

Альпинисты считали его своим. Верили, что он опытный восходитель. А он впервые увидел горы за два месяца до того, как написал песни о горах.

Люди воевавшие были уверены, что он их боевой товарищ,— такая ободранная до крови правда лезла из его военных песен.

По природе своей он должен был, наверное, пойти в моряки, в летчики, в солдаты. Но для этого надо было иметь несколько жизней. Он в песнях проживал то, что хотел бы прожить в жизни.

Судя по песням, он всегда знал предмет досконально. Откуда? У него была изумительная память, а слушать он умел, как никто. Это редкий дар. Мне кажется, тот, кто не умеет слушать и слышит только самого себя (таких мы часто встречаем), как художник слова — конченный человек. Ему уже не узнать ничего нового.

Для Володи интересные люди были окном в мир, куда он, перегруженный заботами и обязанностями, не имел легкого доступа. Он искал таких встреч. Однажды я видел, как он слушал геолога из Сибири — потом этот человек, Вадим

Туманов, стал его настоящим другом. Туманов говорил, а Володя был весь — напряженное внимание, боязнь упустить хоть одно слово. Мгновенная реакция на смешное, искренняя боль в глазах, когда речь заходит о несправедливости. И опять добрая улыбка, раскрепощающая собеседника, поначалу робевшего перед любимым поэтом. Туманов рассказывал всю ночь. Несколько раз Володя брал гитару, начинал песню, но обрывал ее, откладывая гитару в сторону. Выстраданное другими всегда казалось ему более значительным, чем свое собственное.

...Снова обращаюсь к записной книжке. «Август 68-го. Лечу в Красноярск. Оттуда поездом до станции Мана. Потом пешком. Глубокой ночью вхожу в село. Оно расположено на берегу саянской речки и называется очень красиво — Выезжий Лог. Бужу всех собак, с трудом нахожу нужный мне дом. Стучу...»

Открыл мне Валерий Золотухин. Они с Володей снимались тут в «Хозяине тайги». В доме темно — ни керосиновой лампы, ни свечки, электричество отключили в одиннадцать часов вечера. Мы обнялись в темноте, Володя сказал... Что может сказать разбуженный среди ночи человек, которому в шесть утра вставать на работу?

— Какую я песню написал! — сказал тогда Володя. Я еще рюкзака не снял, а они с Золотухиным уже сели рядышком на лавку и запели на два голоса «Баньку». Никогда больше не слышал я такого исполнения.

Володя всегда был так расположен к собеседнику, так умел его разговорить, а расставаясь, так

искренне просил не забывать, звонить, навещать, что человек, только что с ним познакомившийся, уходил от него убежденный, что именно его отметил, выделил из толпы Высоцкий. И уже навеки записывал его в свои близкие друзья.

А близкий его друг сказал мне однажды. Слова поразили детской искренностью, в таком ведь не часто сознаются:

— Знаешь, о чем я мечтаю? Чтобы на Володю напали хулиганы, а я оказался рядом...

Однажды мы жили с ним в Болшево, в Доме творчества кинематографистов. Пытались сочинить детектив. Сюжет шел плохо и вскоре застрял окончательно. Запутались мы на «кранцах» — сюжет был морским. Я, считавший себя знатоком морского дела, настаивал на одном, Володя — на другом. Мы поссорились. Год спустя в случайном разговоре с моряками я обнаружил, что Высоцкий был прав. Потом мне не раз приходилось изумляться его удивительной осведомленности в самых разных областях.

В 1966 году физики Сибирского филиала Академии наук показывали нам строящийся ускоритель. Объяснял что к чему молодой бородатый ученый. Вскоре я отвлекся от этих объяснений, так как перестал что-либо понимать. Смотрю, Володя кивает, поддакивает. Ну, думаю, играет. А на самом деле ничего не понимает, как и я. И вдруг он стал задавать вопросы бородатому физику. Вопрос — ответ, вопрос — ответ. Словно мячики кидают друг другу. Я понял, что Высоцкий свободно разбирается в предмете разговора. А ведь он был чистым гуманитарием.

Но вернемся к «кранцам», которые нас рассорили. Плюнули мы на сценарий — каждый занялся своим делом. Спустя некоторое время Володя буркнул:

— Расскажи мне про шахматы.

Он как раз находился в «спортивной полосе» своего творчества. Я стал охотно объяснять: игра начинается с дебюта, начала бывают разные... например, «Королевский гамбит», «Староиндийская защита»... Чтобы предостеречь его от ошибок в будущей песне, я рассказал, что любители, в отличие от профессионалов, называют иногда ладью турой, слона — офицером...

— Хватит! — оборвал он. — Этого достаточно.

Я обиделся — с таким багажом приступать к песне о шахматах?!

Он замолк на полтора дня, что-то писал мелкими буквами, брал гитару, пощипывал струны. Именно так — как бы просто пощипывал, глядя куда-то в одну точку. Песня эта получила название «Честь шахматной короны». Я поначалу разочаровался. Не знаю, чего я ожидал, но помню, обиделся за шахматы. Ну, что это за ерунда. в самом деле:

Мы сыграли с Талем десять партий
В преферанс, в очко и на бильярде.
Таль сказал: «Такой не подведет»...

Через неделю мы сели с Володей в поезд. Я ехал в Одессу, он — в Киев, где у него были два концерта. Конечно же, я задержался в Киеве и пошел с ним на концерт. Он впервые решил попробовать на публике «Шахматную корону». Что творилось в зале! Люди буквально корчились от смеха — и я вместе с ними, — сползали со стульев на пол...

Смешное нельзя показывать одному человеку, смешное надо проверять на большой, дружелюбно настроенной аудитории. Я это тогда хорошо понял. И, конечно, не надо ему было ничего знать о шахматах. Потому что эта песня не о шахматах, а о жизни. Теперь часто делят его песни на «темы», на «циклы». Но нет у Высоцкого песен о море, о небе, о земле. Все они — о нашей жизни, о нас. И спорт для него — модель жизни. Не удивительно, что действующие лица его спортивных миниатюр — отнюдь не герои и действуют чаще всего в ситуациях нелепых, абсурдных. Это может обидеть только тех, кто воспитан на банальных песнопениях во славу советского спорта. Но панегирики никогда не входили в амплуа Высоцкого.

Что отличает его поэзию? Высокая гражданственность. Активная позиция автора. Поэтому так велика очистительная сила его стихов и песен. Поэтому так много в них смешных, нелепых персонажей. Только слепой, глухой или абсолютный дурак может отождествлять их с личностью автора.

Вот и спорт. В нем, как и в жизни, есть плохое и хорошее. Есть те, кто рвутся на пьедестал только потому, что знают: «первым — лучшие куски». И есть те, для кого спорт — это борьба с самим собой, с собственными слабостями и победа — победа над самим собой.

И пусть пройдет немалый срок,
Мне не забыть,
Что здесь сомнения я смог
В себе убить...

Это песня об альпинистах — значит, о спорте.
Но она о жизни.

В жизни трагическое и смешное — рядом. У Высоцкого юмор присутствует даже в стихах высокого трагического накала.

Талантом подметить смешное он обладал в совершенстве. В кругу близких людей был чрезвычайно смешливым человеком и остроумным рассказчиком. Качество не столь уж распространённое у юмористов. Зощенко, по свидетельству современников, был мрачен и молчалив. Со Жванецким тоже не обхохочешься, пока он не достанет потёртый бухгалтерский портфель и не начнет извлекать из него свои тексты.

Совершенно иным был Владимир Высоцкий.

Сидели мы как-то на кухне, пили чай. Зашел «на огонек» сосед по дому. Заглянул на минутку, а просидел час-полтора — рассказывал о загранице, только что оттуда приехал. Не могу вспомнить, о чем конкретно он говорил, но слушать было безумно интересно. К тому же весь рассказ был окрашен юмором. А когда он ушел, Володя сказал:

— До чего ж талантлив — все наврал, а как интересно!

Вспоминаю это для того, чтобы сказать: Володя и сам был таким. Художник всегда побеждал в нем объективного наблюдателя. Если он вспоминал что-то, речи не могло быть о протокольной точности. Наверняка, что-то досочинил, усилил и по-своему точно завершил. И персонаж становился типом — зримым, живым. Он еще и показывал этого типа — не играл, а показывал, выделяя какую-нибудь одну характерную черту.

«Был в нашем театре грузчик. Вечно пьяный. У него вестибулярный аппарат так наладился —

если трезвым понесет ящик с бутылками, обязательно разобьет. Буфетчица знала за ним этот грех и сама наливала ему, не дожидаясь, когда попросит. Однажды он по пьянке отрубил себе палец. Отвезли его в больницу. Прошло месяца два-три. Как-то стоит он около буфета, смотрит на руку — а пальца нет.

— Клава, — спрашивает он буфетчицу. — Где у меня палец-то?

— Да ты что, Вань! Неужто забыл? Мы еще в больницу тебя возили, переживали за тебя..

— Да...—он недоуменно смотрит на руку, подносит ее к лицу, морщит лоб, что-то вспоминая. Наконец, поднимает на буфетчицу выцветшие от алкоголя глаза:

— Может это у меня с войны, а?»

Спросить бы у артистов с Таганки, был ли такой грузчик в театре или Володя его выдумал? Так и стоит перед глазами этот тип, допившийся до чертиков, до того, что забыл, кто он, где живет, какой год на дворе.

Есть в фильме «Место встречи изменить нельзя» такой эпизод: разговор Жеглова с воров-карманником Кирпичом. Этот Кирпич разговаривает на каком-то немыслимом языке — шепелявит, не выговаривает тридцать две буквы алфавита, лицо при этом у него бесконечно глупое.

Снимаем мы этот эпизод и чувствуем — не смешно. А у Вайнеров сцена написана с юмором. Что делать? Тут я вспомнил серию Володиных ранних рассказов от лица придурковатого шепелявящего типа. Во многих его песнях встречается этот персонаж. С ходу так, как Володя, артист Стас Сададьский шепелявить не смог, но харак-

терность схватил точно. Потом, на тонировке, он идеально повторил интонацию Высоцкого. И получился самый смешной эпизод в картине.

...Он жил очень быстро. Быстро работал, быстро ел, быстро передвигался, на сумасшедшей скорости водил машину, не выносил поездов — летал самолетом. Четыре-пять часов — сон, остальное — работа. День его мог сложиться таким образом: утром — репетиция в театре, днем — съемка, озвучание или запись на «Мелодии», потом — концерт, а вечером — «Гамлет». Спектакль немыслимого напряжения — свитер в антракте хоть выжимай. А ночью — друзья, разговоры. К нему тянулись пюди, и он не мог без них.

Надо бы сказать еще вот о чем. Он, чей рабочий день был загружен до предела, постоянно находил время хлопотать за других, помогать в самых разных, иногда очень нелегких житейских ситуациях. Кого-то устраивал в больницу, чужому ребенку доставал лекарства. Кому-то пробивал машину, кому-то квартиру. Больно говорить об этом, но некоторые знакомые эксплуатировали его популярность и нещадно одолевали просьбами. И он успевал их выполнять, был точен, даже пунктуален в этом.

Только глубокой ночью, иногда на рассвете, когда все расходились и дом затихал, он садился к столу. Квартира — своя квартира — появилась у него за пять лет до смерти. Вместе с Мариной они любовно обставили ее, появился и письменный стол. А вообще-то он обдумывал, писал, сочинял в любых, самых невероятных условиях. Например — сидит напротив телевизора и смот-

рит все передачи подряд. Час, два...—скучное интервью, прогноз погоды, программу на завтра... В это время спрашивать о чем-нибудь бесполезно. Он думает свое, а экран телевизора—это и фон, и материал, и способ отключения от окружающих.

Так он жил ежедневно, из года в год. Такой образ жизни, такая нагрузка—не по силам обычному человеку. В какой-то момент в сознании возникло ощущение близости конца. И вылилось в песне, хватающей за сердце: «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!» И в разговоре: «Знаешь, я все чаще стал задумываться—как мало осталось!»

Он был прав. Осталось мало. А сделать хотел еще много. Хотелось попробовать себя в прозе, сочинить сценарий, пьесу, заняться режиссурой. И темп жизни взвинтился до невыносимого предела.

Ему говорили: «Остановись!» Он улыбался трогательной улыбкой. Понимал, что долго этого не выдержать. Очень хотел жить, но не мог остановить себя. А внутри иногда отчаянно звучало: «Чуть помедленнее, кони!»

Еще нашел в записной книжке: «Володя: у меня все наоборот—если утону, ищите вверх по течению». Откуда это? Ведь он всегда твердо знал—куда, ради чего, на что идет. Но такой трагический парадокс, который отражен в форме шутки,—это тоже он, Высоцкий.

Так хотел сниматься в «Месте встречи», был начинателем идеи—сделать фильм по роману Вайнеров, так волновался—утвердят ли на роль Жеглова, и вдруг...

10 мая 1978 года — первый день съемок. И день рождения Марины Влади. Мы в Одессе, на даче. И вот — неожиданность. Марина уводит меня в другую комнату, запирает дверь, со слезами просит: «Отпусти Володю, снимай другого артиста!» А потом и он сам: «Пойми, мне так мало осталось, я не могу тратить год жизни на эту роль!»

Как много потеряли бы зрители, если бы я сдался в этот вечер. Однажды меня спросили: «А стоит ли год жизни Высоцкого этой роли?» Вопрос коварный, и непросто на него ответить. Если бы год, который заняли съемки, он потратил на сочинение стихов, ответ был бы однозначным: не стоит. Но у Володи — я знал это — были другие планы, и потому мы построили для него щадящий режим съемок, чтобы он мог осуществить все задуманное: побывать на Таити, совершить гастрольное турне по городам Америки... Нет, не могу я ответить на вопрос — стоит ли. Но и спрашивать так, по-моему, ни к чему.

Марина вошла в его жизнь в 1967 году. Это была уже не та шестнадцатилетняя «колдунья», которая десять лет назад явилась на наши экраны. Зрелая, расцветшая красота. Русская, но говорит с акцентом. В 1914 году отец ее, авиатор Владимир Поляков, уехал во Францию получать самолеты для русской армии. Началась война с Германией. Он воевал с немцами на стороне Франции. Революция, гражданская война, противоречивые слухи о России... Привык к чужой стране, родились дочери.

На родину родителей Марина Владимировна попала во время первого Московского кинофести-

валя. После этого ей часто приходилось бывать в нашей стране — член ФКП, один из президентов общества «Франция — СССР», она интересовалась всем русским.

Марина смотрела «Пугачева» на Таганке. После спектакля Володя пел ей.

Недавно я спросил ее:

— Что он тебе говорил в первый вечер?

Марина засмеялась:

— Ты что, не знаешь своего друга? Он же такой наглец был. Сразу сказал: будешь моей женой! Я только посмеялась тогда...

Спустя несколько лет они поженились. Теперь он уже не мог петь: «Париж открыт, но мне туда не надо!» Теперь — надо.

Это была красивая, длившаяся много лет духовная и физическая связь двух бесконечно талантливых людей. Марина пыталась замедлить его бешеный темп. Отчасти ей это удалось. Во всяком случае, она продлила ему жизнь.

...Он давно подумывал о режиссуре. Хотелось на экране выразить свой взгляд на жизнь. На съемках «Места встречи» возможность подвернулась сама собой. Мне нужно было срочно уехать в ГДР на фестиваль, и я с радостным облегчением уступил ему режиссерский жезл. Когда я вернулся, группа встретила меня воплем: «Он нас измучил!» В этом была лишь доля шутки. Привыкших к долгому раскачиванию работников киногруппы поначалу ошарашила его неслыханная требовательность. У Высоцкого камера начинала крутиться через несколько минут после того, как он входил в павильон. Объект, рассчитанный на неделю съемок, был «готов» за

четыре дня. Он в мое отсутствие снял бы всю картину, если бы ему позволили.

Он являлся на съемки абсолютно готовым к работе. Всегда в добром настроении, он заражал своей энергией и уверенностью всех участников работы. По этой короткой пробе легко было представить его в роли режиссера большой картины.

Зато на тонировке с ним было тяжело. Это работа нелегкая и не самая творческая — актер должен слово в слово повторить то, что наговорил на рабочей фонограмме, загрязненной шумами и стрекотом камеры. Бесконечно крутится, повторяясь, кольцо на экране. Володя стоит перед микрофоном и пытается вложить в губы Жеглова нужные реплики. Он торопится, и оттого дело движется еще медленнее. «Сойдет!» — кричит он. Я требую записать еще дубль. Он бушует, выносится из зала, но через полчаса возвращается и покорно становится к микрофону. Ему хочется на волю, а кольцо не пускает. Ему скучно — он уже прожил жизнь Жеглова, его творческое нутро требует нового, впереди ждут Дон Гуан и Свидригайлов, а внизу, у подъезда, нетерпеливо перебирают ногами кони привередливые...

В нем была какая-то огромная, необъяснимая внутренняя сила. Однажды в честь Марины Влади и Высоцкого был устроен вечер в Голливуде. На таких вечерах всегда выступает какая-нибудь знаменитость. Присутствующие звенят бокалами, перешептываются, а то и просто не обращают внимания на происходящее на сцене. Но запел Высоцкий, и все затихли. Люди другого

материка, других нравов напряженно слушали, думали. Пришли на этот вечер Марина Влади с мужем, а ушли — Высоцкий с женой.

Лучшая его роль — Гамлет. Жеглова он «сыграл», а Гамлета прожил. Для меня Гамлет — это и есть сам Высоцкий. Для него, если задуматься, не существовало вопроса: быть или не быть. Доживать ли после клинической смерти (а их было две) свой век тихо, спокойно, прислушиваясь к стукам в сердце, или остаться таким, каким ему предназначено быть? Вести ли беспокойную жизнь Поэта или оттягивать, отвоевывать у смерти месяцы и годы? Пройти ли мимо страдания или принять на себя чужую боль? На эти вопросы ответ ясен, он был оплачен всей жизнью. Быть, конечно, только быть. Но — не «смиряться под ударами судьбы».

II

28-го мы привезли его в театр в четыре утра. Уже выстраивалась очередь для прощания, уже — один за другим — прибывали автобусы с милицией. Автобусов было очень много, в здании метро образовался милицейский штаб, был еще штаб передвижной, на колесах. Распоряжался всем взволнованный и несколько испуганный происходящим генерал. «Зачем так много милиции?» — подумал я.

Но потом голубые рубашки совершенно потерялись в толпе людей. Народу в Москве было сравнительно мало — разгар лета, время отпусков, Олимпиада. В газетах не было сообщения — иначе в Москву устремились бы многие. Если бы ни то, ни другое, ни третье — могла

случиться Ходынка. Такого Москва не видела никогда. Казалось, она вся собралась здесь, на Таганке, на прилегающих к ней улицах.

Кто не пришел проститься с поэтом? Те персонажи его песен, которых он не любил,— алкаши, блатари, антисемиты, завистники, чиновники, коммунальные склочники... Они ненавидели Высоцкого сильно, ненавидят, я уверен, и сейчас.

У меня на стене висит фотография. Люди из той невиданной очереди, из толпы. Какие красивые, одухотворенные лица!

Я шел вдоль этой очереди, всматривался в лица, вслушивался в разговоры. Пожилая женщина, стоящая в толпе молодых людей, сказала:

— У нас в деревне все Володю поют...

У меня сохранилось несколько грустных писем.

«Утвердили меня в картину „Земля Санникова“. Сделали ставку, заключили договор, взяли билет. С кровью вырвал освобождение в театре, а за день до отъезда мосфильмовский начальник сказал: „Его не надо!“ — „Почему?“ — спросили режиссеры. „А не надо и все! Он — фигура одиозная...“ Словом, билет я сдал, режиссеры уехали в слезах, умоляли пойти похлопотать... Чувствую, вырвут меня с корнем из моей любимой кинематографии, а в другую меня не пересадить, у меня несовместимость с ней, я на чужой почве не зацвету...»

(Справедливости ради надо заметить, что предложения из «другой» кинематографии он получал, и в последние годы — довольно много.) Сегодня горько и обидно читать эти строки. Не издали при жизни книгу стихов — это объяснить

еще можно. Кому нужен был тогда тайфун в гладком море макулатуры? Слишком яростные строки, слишком обнажена правда в этих стихах, слишком много «возмутительных» вопросов:

Наши ноги и челюсти быстры.
Почему же, вожак, дай ответ —
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем — через запрет?!

В «Нерв» это, конечно, не вошло. А сейчас диким кажется — почему?! Не было «спроса» на правду? Это ложь. Всегда у миллионов людей этот спрос был — популярность Высоцкого тому подтверждение.

Самого сильного и стойкого бойца нет с нами. Но он оставил нам свои стихи, в которых задолго до объявления войны всяческой лжи и бюрократизму обличал и уничтожал ложь, косность, бюрократизм, пошлость и предательство. Каковы же мы будем, если не возьмем на вооружение всю поэзию Высоцкого?!

Была определенная логика времени в том, что книга его стихов не была издана. Правда, эта логика позорна для тех, кто отвечал тогда за литературу, для тех, кто весьма удобно в этой литературе жил.

Но то, что первоклассный артист так редко появлялся на экране, — в этом никакой логики нет. Просто был страх от одного имени: Высоцкий. Ни в качество таланта не вдумывались, ни сам талант этот не берегли. Возможно, тем, кто лишил нас радости видеть Высоцкого на экране, стыдно сегодня смотреть в глаза людям. Но легче от этого не становится.

Кино, и вообще искусство, устало от мелочной опеки, под неусыпным оком «руководящих» и

«отвечающих». Им хотелось бы контролировать не только каждый шаг художника, но и любое движение его души. Сегодня кинематографисты пытаются освободиться от пут, связывающих их мысль и свободный полет фантазии. Как порадовался этому бы Володя. Он всегда говорил об этом. Раньше — с яростью, последние годы — с горьким сарказмом.

«Но ведь про что-то можно снимать? — писал он мне. — Например, про инфузорий? Хотя... Ткнуться некуда — и микро- и макромиры под чьим-нибудь руководством».

Первые дни после смерти поэта и еще долго, очень долго люди приносили ему свои стихи. Приносили в театр, клали на могилу, читали друг другу у ограды, за которой даже зимой пылает море цветов. Стихи часто неумелые, не всегда складные, но искренние.

«Пророков нет в отечестве моем,
А вот теперь ушла еще и совесть...»

«Он болью всех болеть устал...»

«И охрипшая совесть России,
Не сдаваясь, кричит о своем...»

«На гитаре твоей не струны —
Обнаженные нервы звенели...»

«Ни дня не жили, чтоб с тобою не общаться...»

«Ты держал в своих чутких пальцах
Гриф гитары и пульс России...»

Из этих стихов можно сложить книжку. Это была бы очень полезная книжка. Эти стихи могли бы многое сказать о том, что было разбужено в людях огромной страны одним человеком.

У меня дома есть небольшая коллекция минералов. И в ней один особой цены. Он — с отполированным срезом, отколот от большого камня. История его такова. Марина Влади хотела поставить на могиле Володи какой-нибудь простой выразительный камень, не тронутый рукой скульптора. Чего не смог выразить художник, пусть выразит сама природа.

Но родителям пришелся по душе проект скульптора Рукавишникова. Этот памятник и стоит сейчас на Ваганьковском. В нем много аллегорий, символики. Все это мало соотносимо с тем Высоцким, которого мы знали и любили. Но многим такой памятник нравится. И тут уже нет смысла спорить.

Пока велись споры вокруг памятника, геологи занимались поисками камня. Его нашли в далекой степи, за озером Балхаш. Это большая серая глыба твердого и звонкого, как металл, минерала. Камень пролежал в степи десятки тысяч лет. Его доставили в Москву и сгрузили во дворе Театра на Таганке...

НАЧАЛЬНИК
УЧЕБНОГО



Я счастлива, что сегодня слышу имя Владимира Высоцкого, запросто произносимое с телеэкрана. Его песням никогда не предоставлялись средства массовой информации. А ведь их знали миллионы советских людей! Феноменальная история в нашем веке.

В самом начале 60-х годов, когда английская четверка «Битлз» еще не затмила славы Бриджит Бардо и на фильм «Бабетта идет на войну» у кинотеатров стояли длинные очереди, у нас в стране появился молодой человек с гитарой, странный, простой, загадочный, доступный, эксцентричный, неординарный, нетрадиционный. Своим появлением он на целое десятилетие опередил плеяду великолепных «антигероев» американского кино: Роберта Де Ниро, Ал Пачино, Дастина Хофмана. Но он не был, не был поддержан, не был использован. Ну что ж, не будем ждать милости от природы...

«... а я считал махоркою окурочек с-под платформы, черте-те с чем напоем».

«От стужи даже птицы не летали...»

«Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали.

А я боялся — только б не упасть...»

«Блокада затянулась, даже слишком...»

Это что — сейчас написал кто, или песня тех лет? Ведь это точно про наше поколение, голодных детей войны. «Блокада затянулась, даже слишком». Вот это «даже слишком» с ума сойти как точно. Во время той массовой катастрофы

дети были сдержанны, мужественны, без всяких неврозов. Наоборот, с эдаким взрослым бахвальским юморком на голодный желудок: «умираем, но смеемся». Это «даже слишком» мне очень родное.

Сейчас как-то даже неловко рассказывать молодежи, оснащенной современной звуковой техникой, о том, что когда-то рентгеновские снимки использовались для пластинок. Глянешь на просвет, а там легкие, ребра, хребет... А насадишь такую пластинку на штырь диска, она закрутится, спотыкаясь, и, счастливый, слушаешь такие вот «высоцкие» песни про нас, про войну, про светлое довоенное время, про прекрасное будущее.

Я узнала, что автор этих песен — молодой театральный артист Владимир Высоцкий. В кино не снимается. А через некоторое время у меня появилась пленка с его песнями, как теперь конфузливо называют, «ранними». Слушала я их много-много-много раз. И представлялся мне исполнитель здоровым молодцем с золотой фиксой во рту. У него такой мощный, хриплый, надрывный, истинно мужской голос... Больше всего мне нравилась песня «Тот, кто раньше с нею был». Интересно, — ведь больше о «нем» ничего не сказано, а какая угроза! Лицо у «него» бугристое, пористое, с большим носом и маленькими голубыми глазками... Страшно. С тех пор как я познакомилась с Володей Высоцким, где бы мы ни встречались, он, взглянув в мою сторону, пел: «Но тот, кто раньше с нею был...»

А познакомились мы в 1962 году в шумной, разношерстной компании, в большой красивой квартире, где хозяин устраивал вечера гастролё-

ров-развлекателей. У меня был такой период жизни, когда в кино работы не было, а времени свободного было ого-го сколько. Куда только судьба не заносила. В той компании я уже отвыступала и числилась актрисой вчерашнего дня. Высоцкий приехал с гитарой в сопровождении нескольких друзей. Хоть я уже и знала, что внешне он совсем не такой, каким его представляла, у меня все равно была надежда, что я подсмотрю в нем что-то особенное. Нет. Было разочарование.

Но недолгое. Потому что, как только он поздоровался со всеми и перебросился несколькими словами с хозяином, он тут же запел. Пел, что хотел сам. Пел беспрерывно. Казалось, для него главное — что его слушали. Слуша-ли! Впечатление было, как от разрыва снаряда. Да нет, если бы он не пел, он бы просто с ума сошел от внутренней взрывной энергии. Такое было второе впечатление. А сейчас я думаю, что он не мог найти нужного равновесия из-за огромной внутренней непрекращающейся работы, когда нет сил (или времени?) посмотреть на себя со стороны. А вот так, будучи самим собой, — выпотрошенным, усталым, непарадным, — он, конечно же, рисковал многих разочаровать. Он все время был обращенным в себя и в то же время незащищенным, как на арене цирка. Чувствовал, что надо удивлять, но одновременно и понимал, что этого ему не простят. Но это я сейчас так думаю. А тогда... Тогда я попросила: «Но тот, кто раньше с нею был...» Потом его рвали во все стороны, что-то говорили, пожимали ему руки. Но были лица и равнодушные: «Ну, и что тут такого?» О, сколько я видела таких лиц! Сколь-

ко раз слышала эти разговоры: «Перестаньте, увольте, эти песенки, эти темочки!», «Только не начинайте с отпетых вещей, Высоцкий — это для плебеев» и т. п. Милые, дорогие товарищи, которые в жизни сами ничегошеньки не сделали! Вы ведь только бальзамировали, хоронили, парализовывали прекрасные порывы художника своими жестокими фразами! Именно так во все времена поступали со всеми «иноходцами»-новаторами. И ваши высокомерные лица — только доказательство их точной позиции. А про что Высоцкий должен был петь?! На какую «темочку» сочинять?! А через несколько лет ваши же лица перестроились в почтительные, кроткие и одобряющие: «Да, конечно, Высоцкий — это явление»... Эх...

С Володей Высоцким мы не дружили. Не встречались ни на съемочной площадке, ни на сцене. Жаль. Но в жизни общались в самых разных ситуациях, при самых неожиданных обстоятельствах. В тот вечер он сказал, что ему приятен мой выбор — «Но тот, кто раньше с нею был...», он тоже эту песню любит. Но разговор у нас не получился. Наверное, потому, что я засыпала его комплиментами, «охами» и «ахами», а он на глазах съеживался и терялся. В общем, не получилось. Сейчас я с грустью сознаю, что не могу воспроизвести ни одной острой, образной фразы, которую бы он произнес просто так, в разговоре. Наверняка, он блистал остроумием в компании ближайших друзей. Но мне этого не досталось. Со мной он был всегда корректным, немногословным, очень доброжелательным, не проявляя того особого интереса, который, казалось бы, естествен между вполне

нормальными мужчиной и женщиной, да еще с нашумевшими именами. С самой первой встречи он был мой товарищ. И от этого нам всегда было просто и легко.

В 1966 году я снималась в спортивно-музыкальном фильме «Нет и да». Моим партнером был Всеволод Абдулов — близкий друг Высоцкого. Володя всегда был для него заботой номер один. И в те годы, и вчера, и сегодня.

— Люся, напиши про Володю. Готовится книга о нем! Знаешь, я теперь всех людей оцениваю по тому, как они относятся к Володе...

Вот я и пишу.

«Володька мой друг, да мы с Володькой, да он у меня дома...» — сегодня много таких устных рассказов. Говорят, спорят, а последнее время уже и пишут... Недавно держала в руках сценарий фильма о Высоцком, но не решилась принять участие. Не решилась спеть песню Высоцкого на телевидении. Что-то внутри сдерживало. Думала, может, пусть лучше тайный островок с названием «В. В.» в моей душе останется нетронутым.

Но... Жизнь! Разве ее срежиссируешь?! Вчера все было серо, безнадежно. Сегодня — чистое небо, светит солнце и хочется жить! И до боли в душе не хватает его! Нет, сказать про Володю — дело святое.

...К тому 1966 году имя Высоцкого стало обрастать пестрыми историями. А у меня они никак не связывались с тем, чуть потерянным, непобедоносным, совсем не суперменом. Да мало ли что об артистах говорят! На съемках фильма, в перерывах Абдулов пел новые и новые песни своего друга. Они сыпались как из рога изобилия. Такие эксцентричные, полярные, неожидан-

ные. И если тот спортивно-музыкальный фильм закончился торжественным провалом, то запомнился он мне песнями Высоцкого. «Ну и дела же с этой Нинкою...» — пела вся съемочная группа. Потом я многие съемочные дни вспоминала по Высоцкому. А, это тогда, когда из кабины звукооператора раздавалось: «Так отпустите, плачут дома детки, ему же в Химки, а мне в Медведки!» А вот та картина вся была пронизана «Охотой на волков». А тот эпизод я сыграла за три дня, и все три дня пела: «Жираф большо-о-ой, ему видней». И режиссера вся группа между собой называла «жирафом».

В то лето 1966 года Володя Высоцкий, Сева Абдулов и я с дочкой Машей оказались однажды в очереди ресторана «Узбекистан». Стояли мы бесконечно. Перед нами все проходили и проходили какие-то люди в черных костюмах. Это было время, когда после «Карнавальской ночи» меня уже на улицах не узнавали, а Володю еще не знали в лицо. Фильмы, фотографии его были впереди. Он вел себя спокойно. Я же нервничала, дергалась: «Ужас, а? Хамство! Правда, Володя? Мы стоим, а они уже, смотри! Вот интересно, кто они?» Потом мы ели во дворике «Узбекистана» разные вкусные блюда. И — только ели. Никогда в жизни я не видела Володю нетрезвым. Это для меня чужие рассказы. Только в его песнях я ощущала разбушевавшиеся, безбрежные русские загулы и гудения. Недаром к моей маме вместе с разудалыми трагическими «высоцкими» песнями всегда приходят воспоминания о папе, когда он был «молодой, горячий, э-э-эх!»

Через несколько дней Володя мне спел:

А люди все роптали и роптали,
А люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первые стояли,
А те, что сзади нас,— уже едят...»

99

А потом — женитьба на красавице Марине Влади, поездки в Париж и обратно и слухи, слухи, слухи. Сплетни, сплетни и легенды. Видели, что теперь он носит кепку в клеточку и что машина у него заграничная. Говорили, что изменился, стал другим.

После долгого перерыва я увидела его вместе с Мариной, на фирме «Мелодия». Богиня экрана обаятельно, делово, с напором доказывала кому-то, что нужно выпустить «гран-диск Волёди». «Мариночка, Мариночка», — останавливал ее Володя своим чудным голосом. Да, действительно Володя был другим. Красивым, высоким. И неземная Марина не казалась рядом с ним большой, затмевающей. И пел он по-другому. В голосе появились такие нежные, щемящие обертона... «Волёдя, спой еще! Ой, Волёдя, шьто ты со мной делаешь!» И обнимала его, и голову на плечо ему укладывала. И хотя у нас такие отношения «на людях» не очень-то приняты, но от этой пары исходило такое сияние, что — ну, не знаю — если на свете и есть настоящая любовь, то, ей богу, это была она!

...Уже с гипсом по бедро меня отпустили домой, позади остались операции, а надежды на то, что смогу по-прежнему двигаться, — никакой. Боли, снотворные, уколы, бессонница, ну, просто измучилась. А главное, иссякла вера в свои силы.

Теплый сентябрьский вечер. В десять часов раздался звонок.

— Привет, это Абдулов. Тебя уже выписали? Через час мы с Володей будем у вас.

О боже, зачем?! Мы давно не встречались. Он никогда не видел меня вот такой, без котурнов и плюсов. Я молилась, чтобы гостей куда-нибудь занесло по дороге. В одиннадцать их не было, я успокоилась. Тут одна важная деталь. Ниже этажом жили соседи... Если на часах 23.03, а в нашей квартире звуки (у меня муж — пианист), — тут же звонок. Если через десять минут мои гости не переходили на шепот, еще звонок. В общем, жизнь... Постоянный страх и унижение за годы в той квартире на Маяковской вошли в поры, в сердце. И вдруг — Высоцкий! Да еще в одиннадцать! Да еще с гитарой!

Лежу, все последствия предвижу, мысленно уже пишу оправдательное письмо в ЖЭК. Но гостей, слава богу, нет. Моя мама, сделав все по хозяйству у нас, ушла домой. И этого она не может себе простить никогда. Ну, почему именно в тот вечер она ушла?! Ни вчера, ни завтра, а именно в тот вечер! Ведь именно в тот вечер, в двенадцать часов ночи пришел Володя Высоцкий. И, конечно, с гитарой. Очень красивый и возбужденный. В тот день он вернулся после месячной поездки с Мариной Влади по Америке. В Москве его встречали любимые друзья. Сказал, что в Америке было интересно, много любопытного, непривычного. Я часто думала о том, что Володя после женитьбы на француженке мог бы жить и в Париже, и в Америке, и в любой стране. Но нет. Может быть, его (ох, какая загадочная!) душа и актерская интуиция прошептали ему, что проверять правоту своих взглядов и трудов можно лишь в своей стране, среди

своего народа? Даже на Западе от него исходил стойкий «расейский» дух: Россией пахло от его заграничных дисков.

Володя взял в руки гитару:

Но тот, кто раньше с нею был,

Меня, как видно, не забыл...

Не забыл. Помнит, что эта — моя любимая. Он пел до трех часов утра. Каблуком изящного остроносого сапожка бил в пол в такт ритму. Дом сотрясался от раскатов его голоса: «Идет охота на волков, идет охота-а-а...», «Протопи — не топи, протопи — не топи-и-и...».

Он ничего не спросил меня о травме. Он просто в первый день своего приезда пришел туда, где был особенно нужен.

Сейчас в газетах, в интервью и на ТВ спрашивают: что такое современный человек, современная песня и что такое вообще понятие «современный»? Всв, что рождает в человеке силу поднять голову, идти дальше, верить в себя и в людей, все, что рождает и дарит импульс жизни. «Современный» — это Владимир Высоцкий. Он понимал причины усталости и апатии человека, неспособного больше к борьбе, к сопротивлению. Он не сочинял песен про звездную, нереальную жизнь. Он видел многое несовершенное на земле. Казалось, это всв просто — взять и написать про то, что вокруг, — бери и пиши. Ан... И больше такого Высоцкого нет.

В три часа ночи я шепнула дочке, которая с огромным интересом глазела на легендарного Владимира Высоцкого: «Посмотри с балкона, горит ли там свет у соседей внизу?!»

— Мам, во дворе все окна и балконы настежь! И у всех горит свет!



Чѣм большѣ знавшъ чѣловека, тѣм труднѣе о немъ рассказать.

Сейчас о Высоцком много пишут. А после его смерти мы влѣ-елѣ могли пробить в «Вѣчернюю Москву» маленькое сообщение. Как совместить, как осмыслить все это, имея собственную память на столь разных моменты нашей жизни? Тем не менее все, кто знал Высоцкого, мне кажется, должны оставить воспоминания.

Через месяц после смерти Володи мне неожиданно позвонили из «Советской России» и предложили за два дня написать о нем статью. Я, естественно, согласилась. У меня были дневниковые записки, и я их использовала в статье. Вышла эта статья в жестко скорректированном виде, но «я не жалею» и благодарна людям, которые ее навчатали.

Потом я написала еще две статьи, тоже по заказу. Одну для «Юности» — «Гамлет нашего времени» (в печать пошло другое название — «Он играл Гамлета») — о том, как Володя менялся в этой роли в течение десяти лет. И еще, для «Литературного обозрения», — о театральных работах Высоцкого, о том, как начинали мы вровень и как неуклонно он шел вверх.

Так о чем вспомнить? О том, как он пришел в наш только что организованный театр, — перед этим посмотрел дипломный спектакль «Добрый человек из Сезуана» и рѣшил (по его словам) во что бы то ни стало поступить именно на Таганку?

Пришел никому не известный молодой актер, в сером буклированном пиджаке «под твид», потертом на локтях... Или о его сияющих глазах, когда он явился в театр в новой коричневой синтетической куртке? Или о том, как постепенно вырисовывалась его внешняя пластика — невысокий широкоплечий человек в узких, всегда очень аккуратных брюках, в ярко-красной шелковой рубашке, которая так ладно, красиво обтягивала его намечающиеся бицепсы... Как постепенно исчезала одутловатость еще неоформившегося лица и оно приобретало характерные черты — с волевым упрямым подбородком, чуть выдвинутым вперед...

Не знаю, кому пришла в голову мысль сделать костюмом Гамлета джинсы и свитер. Думаю, это произошло потому, что в то время мы все так одевались. А Володя за время двухлетних репетиций «Гамлета» окончательно закрепил за собой право носить джинсы и свитер. Только цвет костюма в спектакле был черный — черные вельветовые джинсы, черный свитер ручной вязки, открывающий могучую шею. Его и похоронили в новых черных брюках и новом черном свитере, которые Марина Влади привезла из Парижа. (Многие упоминали о том, что он был в костюме Гамлета. Это не так.)

А вообще к костюму у него было какое-то особое отношение и в жизни, и на сцене. Ему, например, не шли пиджаки. И он их не носил — кроме первого, «твидового». Правда, помню, один раз на каком-то нашем очередном юбилее (или праздновании премьеры), когда все уже сидели в верхнем буфете за столами, вдруг явился Высоцкий в роскошном пиджаке — синем

блейзере с золотыми пуговицами. Все застонали от неожиданности и восторга. Он его надел, чтобы поразить нас. И поразил. Но больше я его в этом блейзвре никогда не видела. Тем удивительнее было для меня его решение играть Лопахина в белом пиджачном костюме, который ему не шел, но подчеркивал какую-то обособленность Лопахина от всех остальных и очень помогал на сцене.

А его неожиданные, порывистые движения... Как-то, в первые годы Таганки, мы сидели рядом в пустом зале во время репетиции. Он что-то прошептал мне на ухо, несколько фривольнов, я резко ответила. Он вскочил и, как бегун на дистанции с препятствиями, зашагал прямо через ряды, чтобы утихомирить ярость. От него немногие слышали резкие слова, хотя часто видели побелевшие от гнева глаза и напрягшиеся скулы. Как-то на репетиции «Гамлета» режиссер мне сказал что-то очень обидное, я молча повернулась и пошла к двери, чтобы никогда не возвращаться в театр. Володя схватил меня за руку и стал что-то упрямо говорить режиссеру. Кто-то сфотографировал этот момент — на фотографии запечатлено Володино непоколебимое упрямство: несмотря ни на что этот человек сделает так, как он хочет. Вот эта его самостоятельность меня всегда поражала. Мне казалось, что он в такие минуты мог сделать все. Вообще казалось, что он ждал счастливого дня, когда сразу депал все дела, которые до того стопорились. Этот счастливый день он угадывал заранее каким-то особым звериным чутьем. Помню, после репетиции он отвозил меня домой. По дороге сказал, что ему нужно заехать в Колпачный переулок за

паспортом. Был летний день, я ждала его в машине. И вдруг вижу: по пустынному горбату переулку сверху вниз идет Володя, такой ладный, сияющий. Садится в машину и говорит: «Сегодня у меня счастливый день, все удается, проси все, что хочешь,— все могу...»

После душного летнего спектакля «Гамлет» мы, несколько человек, поехали купаться в Серебряный бор. Не было с собой ни купальных костюмов, ни полотенца, вытирались мы Володиной рубашкой. А поодаль в удобных дорожных креслах, за круглым столом, накрытым клетчатой красной скатертью, в разноцветных купальных халатах сидели французы и пили вино. Было уже темно, а они даже не забыли свечку, и эта свечка на столе горела! Мы посмеялись: вот мы у себя дома, и все у нас так наспех, а они—в гостях, и все у них так складно, по-домашнему. Через несколько лет во Франции мы с Володей были в одной актерско-писательской компании и вместе с французами поехали в загородный дом под Парижем. Когда подъехали к дому, выяснилось, что хозяин забыл ключ. Не ехать же обратно! Мы расположились на берегу реки, купались, так же вытирались чьей-то рубашкой. А рядом благополучная французская семья буржуа комфортно расположилась на пикник. Мы с Володей обсудили интернациональное качество творческой интеллигенции—полную бесхозяйственность и вспомнили Серебряный бор.

Так о чем же вспомнить? И как рассказать?

Как-то, уже после смерти Высоцкого, раздался телефонный звонок, взволнованный мужской голос: «Не бросайте трубку, я приехал издалека. Скажите, Высоцкий жил так, как писал?» Я

нашлась только, чтобы ответить: «А Пушкин жил так, как писал?» — «Но мне не интересен Пушкин, мне интересен Высоцкий». И я ему, может быть, несколько резко: «Вот если вы для себя найдете ответ на вопрос, так ли Пушкин жил, как писал, вы поймете что-то и о Высоцком».

Упрекают нас, работавших с ним вместе, что не уберегли, что заставили играть в прединфарктном состоянии. Оправдываться трудно, но я иногда думаю: способен ли кто-нибудь руками удержать взлетающий самолет, даже если знаешь, что после взлета он может погибнуть... Его несло. Я не знаю, какая это сила, как она называется. А он знал о своем конце, знал, что сердце не может выдержать этой нечеловеческой нагрузки и бешеного ритма. Но остановиться не мог.

От него всегда веяло силой и здоровьем. На одном концерте как-то он объявил: «Мои похороны», — и в зале раздался смех. После этого он запел: «Сон мне снился...»

Тема жизни и смерти — тема «Гамлета». Спектакль у нас начинался с того, что выходили могильщики, рыли могилу, бросая настоящую землю на авансцене, откапывали череп... А заканчивался словами Гамлета-Высоцкого:

Ах, если б время я имел...
 Но смерть — тупой конвойный
 И не любит, чтоб медлили...
 Я столько бы сказал!..
 Дальше — тишина...

На гастролях за границей мы посмотрели фильм Бергмана «Бал шутов». Там есть сцена, где актер очень натурально играет смерть. После фильма мы шли пешком в гостиницу, обмыва-

лись впечатлениями, и я заметила, что актеру опасно играть в такие игры—это трясина, куда засасывает... Высоцкий со мной не согласился, сказал, что все люди смертны, все когда-то умрут, просто у каждого свой срок. А через какое-то время я прочитала в его стихотворении «Памяти Шукшина»:

Смерть тех из нас всех прежде ловит,
Кто понарошку умирал...

Кстати, в его стихах и песнях очень часто можно найти слова, обороты, целые предложения, которые вначале были просто в устной речи, в каких-то наших прибаутках, играх. «Рвусь из всех сухожилий» я, например, услышала в его рассказе о том, как он играет Хлопушу, а уже потом услышала в песне. Часто в песнях возникали знакомые имена,—но не потому, что песня была про конкретного человека, а просто понравилось имя. Был у нас в театре артист Буткеев. И возникло: «И думал Буткеев, мне челюсть круша...», но это не о нашем Буткееве, тот никогда спортом не занимался и был довольно-таки миролюбивым человеком.

Иногда песни, которые приписываются как посвящения какому-нибудь человеку, были поначалу собирательные. Ну, например, «Она была в Париже...» или «Нейтральная полоса».

Вообще, когда сейчас читаешь его стихи и песни, поражаешься обилию емких образов, яркости поэтических строчек, которые раньше я, например, не замечала из-за магии его голоса.

А его предощущение смерти... Когда-нибудь аналитик-литературовед проследит связь между такими, например, строчками: «Когда я отпою и отыграю...», «Я в глотку, в вены яд себе вго-

няю...», «Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт...», «Устал бороться с притяжением земли...» или в «Кате-Катерине»: «Панихида будет впереди...». Или — «Не поставят мне памятник где-нибудь у Петровских ворот...». Я уж не говорю о его прекрасном провидческом стихотворении «Памятник».

Он жил на юру и похоронен у самых ворот при входе на кладбище. Мне вначале было жаль, что на таком открытом месте мы его хороним. Но сейчас я понимаю, что, наверное, лучшего места не сыскать. На этом кладбище лежит много хороших людей. Я часто думаю, вот бы им собраться, поговорить и попеть вместе. Потому что все люди — поющие, кто горлом, кто сердцем. Есенин, Шпаликов, Даль, Дворжецкий, Высоцкий...

Конечно, он жил «по-над пропастью». Конечно, мы это видели. Конечно, предчувствие близкого конца обжигало сердце. На майских гастролях в Польше в 1980 году мы сидели на прощальном банкете за огромным длинным столом. Напротив меня сидели Володя и Ольбрыхский с женой. Володя, как всегда, быстро съедал все, что у него было на тарелке, а потом ненасытно и жадно рассказывал. Тогда он рассказывал о том, что они хотят сделать фильм про троих пленных, бегущих из немецкого концлагеря. Бегут русский (его должен был играть Володя), поляк — Ольбрыхский и француз (фамилию актера забыла). Вдруг посередине этого разговора Володя посмотрел на часы, вскочил и, ни с кем не прощаясь, помчался к двери. Он опаздывал на самолет в Париж. За ним вскочил удивленный Ольбрыхский и, извиняясь передо мной за него и за себя,

скороговоркой: «Я сегодня играю роль шофера Высоцкого, простите...» Я еще успела вслед ему сказать: «Не такая уж плохая роль», как в это время председательствующий Ломницкий, заметив ужв в дверях Высоцкого, крикнул на весь зал: «Нас покидает Высоцкий, поприветствуем его!» И вдруг от «нас покидает» меня охватила дрожь, открылась какая-то бездна, и, чтобы снять это напряжение, я прибавила, в тон ему: «Нас покидает Ольбрыхский, поприветствуем его»...

А конце лвта 1980-го мы как-то с друзьями сидели, и каждый рассказывал, в какой момент он услышал весть о смерти Володи. Мне врезался в память рассказ Ильи Авербаха: «Мы жили в это время на Валдав. Как-то вечером я вяло читал чей-то сценарий, который мне перед отъездом сунул Высоцкий, читал и раздражался на то, что сытые, обеспеченные люди предлагают мне снять картину о гибнущих от голода. Я читал сценарий и ругал их захламленные красной мебелью квартиры (хотя сам живу в такой), их мерседесы, их бесконечные поездки через границу туда и обратно. И во время моего сердитого монолога я услышал по радио сообщение о смерти Высоцкого. После шока, после всех разговоров об ожидаемой неожиданности я уже перед сном взял сценарий и стал его заново перечитывать. Мне там понравилось все. И я подумал, какой мог быть прекрасный фильм с этими уникальными актерами и как Высоцкий был бы идеально точен в этой роли...»

Такой «перевертыш» в сознании и оценке я наблюдала очень часто, и у себя, и у других. После смерти Высоцкого вся страна, восприни-

мавшая его как миф, как легенду, захотела знать конкретные факты его жизни. А мы, хорошо его знавшие, пытались разобраться в корнях этой легенды, этого мифотворчества. Сейчас он встает другим, не таким, каким я его знала при жизни. Очень многое мы узнали только потом: его неопубликованные стихи, песни, прозу, стенограммы, записи творческих встреч со зрителями.

Может показаться, что мы и оценили его только после смерти, но это не так. Масштаб его личности и ее уникальность ощущал каждый в нашем театре, пусть по-своему. Но мы начинали вровень и жили вровень. Даже если кто-то из нас вырывался вперед. И у нас никогда не было иерархии.

Я как-то прочитала у Андрея Вознесенского, что смерть за Высоцким ходила по пятам и что во время одной из репетиций «Гамлета» рухнула огромная кран-балка, которая чудом его не придавила. Смерть, действительно, ходила за нашим поколением по пятам с середины семидесятых годов,—социологи это называют довольно жестко: «социальные смерти», когда происходит «смена времен». Мы теряли друзей: Гену Шпаликова, Василия Шукшина, Ларису Шепитько, Илью Авербаха... А кран-балка рухнула в тот момент, когда Высоцкого не было на сцене—репетировалась сцена похорон Офелии. Вся свита Клавдия и Гертруды стояла за кулисами с гробом Офелии на плечах. Маленький самодеятельный оркестр заиграл похоронный марш, мы вышли на сцену, и тут, действительно, сверху рухнула тяжелая конструкция, про которую тогдашний машинист сцены сказал: «Это некрасиво,

значит — ненадежно». Эта некрасивая махина рухнула, накрыв всех вязаным занавесом. В тишине раздался спокойный голос режиссера: «Ну, кого убило?» Тогда отделались царапинами... А Высоцкий сидел в зале.

Как не удержали, почему заставляли играть? В 1978 году на гастролях в Марселе Володя заболел, сорвался, пропал. Искали его всю ночь по городу, на рассвете нашли. Прилетела из Парижа Марина. Она одна имела власть над ним. Он спал под снотворным в своем номере, а мы репетировали новый финал «Гамлета», на случай, если Высоцкий не сможет выйти на сцену. Спектакль начался. Так гениально Володя не играл эту роль никогда — ни до, ни после. Это уже было состояние не «вдоль обрыва, по-над пропастью», а — по тонкому лучу через пропасть. Он был бледный как полотно. Между своими сценами прибегал в мою гримерную, ближайшую к кулисам, и его рвало в раковину сгустками крови. Марина, плача, руками выгребала это.

В «мемуарах» не приняты такие натуралистические подробности, — может быть, потому, что они могут обытовить, принизить светлый образ. Хочется, чтобы житейское ушло и осталась только память, дух. Так оно и бывает, но в исключительной судьбе все исключительно. Пушкин писал Вяземскому: «Мы знаем Байрона довольно... Толпа жадно читает исповеди, записки, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы — иначе».

Он мог умереть каждую секунду. Это знали мы. Это знала его жена. Это знал он сам — и выходил на сцену.

Можно было бы заменить спектакль? Отменить его вовсе? Можно. Не играть его в Польше? Не играть 13 и 18 июля? Можно. Но мы были бы другие. А Высоцкий не был бы Высоцким.

Я его теперь чаще вспоминаю, чем когда он был жив. Он до сих пор мне дарит своих друзей, о существовании которых я даже не подозревала. По-другому я смотрю фильмы с его участием, по-другому слушаю его песни. Слушаю, чтобы набраться энергии, сил, жизнелюбия... И вот теперь я думаю, обобщая его короткую жизнь: что же было в ней главным, что определяло её суть? И почему именно он нашел отклик в сердцах у миллионов людей? Я не социолог, но мне кажется, бродившие чувства протеста, самовыявления, осознания были выражены в искусстве — в данном случае, в театре 60-х годов — криком. Мы не могли выразить в словах, но крик боли резонировал. Высоцкий своим уникальным голосом, как никто, подхватил эту ноту.

Читая его стихи, видишь, что некоторые — несовершенны. Но у него нет ни строчки лжи, нет ни поэтического флера, ни тех завитков, которыми так грешила наша авангардная поэзия этого двадцатилетия. Чувства — слово — средство выражения — у него сливались. Не было ни зазоринки, ни щели для обмана. Он жил так и писал так.





«Он был из числа перенасыщенных людей, и „неизлечимая болезнь“, которой было одержимо это „хорошо задуманное тело“ (как говорит Гёте), в сущности, заключается в чрезмерной силе. Природа наделила его бóльшим количеством составных частей, чем может вынести единичная человеческая жизнь... поэтому он должен был взорваться, как перегретый котел». Можно спрятаться за чужие цитаты. Приведенные слова сказаны Стефаном Цвейгом, а мне кажется, это — о Высоцком.

Ивана Пущина часто донимали просьбами написать о Пушкине как о человеке, как о друге. Пущин отвечал, что, может быть, именно как друг он не хочет говорить о каких-то чертах поэта. Нечто похожее происходит со мной после смерти Высоцкого.

Несколько строчек из дневников, главное для меня в них — даты. Может быть, и они сгодятся для той книги о В. С. Высоцком, которую напишет наш далекий потомок.

«Мне очень одиноко в театре, когда не играет Высоцкий, как-то неуверенно. Когда Высоцкий рядом — все как-то проще, надежнее и увереннее» (08.10.68).

«Мы греемся около его костра, мы охотно рассказываем о нем всяким чужим людям, мы даже незаметно для самих себя легенды о нем сочиняем. И ждем — вот случится что-нибудь с другом нашим (не приведи, господи), мы такие

воспоминания, такие мемуарные памятники на-
стряпаем — будь здоров, залюбуешься. Такое на-
ковыряем, что сам Высоцкий удивится и не
узнает себя в нашем изложении. Мы только
случая ждем и не бережем друга, не стараемся
вникнуть в мрачный, беспомощный, одинокий, я
убежден, мир его. Мы все меряем по себе: если
нам хорошо, почему ему должно быть плохо?»
(25.11.68).

«Я удивляюсь Высоцкому — какая у него глот-
ка?! Феномен. Кажется: предел, все, дальше
ничего не будет, оборвется. Нет, он еще выше,
еще мощнее и звонче исторгает звук. Начали с
ним „Баньку“, мне не пелось, и тональность я не
выдержал, и перестал, а он за двоих стал
шпарить, да по верхам, да с надрывом, ох,
молодец! Андрей повернулся: „Володя, ты ге-
ний!!“ И в самом деле: Володя — гений, добрый
гений» (02.03.69).

«Такого, затянутого в черный французский
вельвет, сухопарого и поджарого, такого Высоц-
кого я никак не могу всерьез воспринять, отне-
стись к этому нормально, привыкнуть. В этом
виноват я. Я не хочу понять и полюбить челове-
ка, поменявшего программу жизни. Хочу его
видеть и любить таким, каким узнал впервые.
А так в жизни не бывает» (30.09.71).

«Валера! Я не могу, я не хочу играть... Я
больной человек. После „Гамлета“ и „Галилея“
я ночь не сплю, не могу прийти в себя, меня
всего трясет — руки дрожат. После монолога
и сцены с Офелией я кончен... Это сделано
в таком напряжении, в таком ритме — я схожу
с ума от перегрузок. Я помру когда-нибудь, я
когда-нибудь помру... А дальше нужно еще боль-

ше, а у меня нет сил. Я бегаю, как загнанный заяц, по этому занавесу. Хочется на год бросить всякое лицедейство, это не профессия... Хочется сесть за стол и спокойно пописать, чтобы оставить после себя что-то» (09.10.72).

«Сколько нелепостей, глупостей вокруг его имени. Сколько раз его при мне отпевали, хоронили всяческими способами, отправляли черт знает в какие заграницы... За два часа до встречи с ним в Риге, на съемке у Митты, мне „достоверно“ сообщили, что подавился рыбной костью. Воистину — язык человеческий без костей. Я-то тихо радуюсь и надеюсь: долгую жизнь проживет Владимир».

«„Хозяин тайги“». На съемках не ладится, ругаемся с режиссером, с оператором. Пишем нашему товарищу, нашему партнеру по театру: „Пропало лето, пропал отдых, пропали надежды...“ А через год газета назвала мою работу в „Хозяине тайги“ одной из лучших мужских ролей года. В ответ на наше скулежное письмо Вениамин присылает в тайгу нам свое письмо и вырезку из „Комсомольской правды“, где фрезеровщик завода „Серп и молот“ заверял читателей, что в Театре на Таганке царит режиссерский деспотизм, актеров нет, а какие и есть, так им-де не дают (негде) развернуться. Уже шел „Галилей“, „10 дней“, „Добрый человек“, „Послушайте!“ о Маяковском. От кинорежиссеров не было отбою, писались статьи, монографии. А уже через год-другой критик сообщил, что в „Хозяине“ актеры подавили режиссера. Выходило так, что одни и те же актеры умеют играть в кино и не умеют в театре. И там, и там — была ложь, путаница, чушь... Нежелание или неумение дей-

ствительно толково разобрать наше театральное таганское дело».

«А Высоцкий не боялся, что я перетяну одеяло на себя. и помогал мне сделать песню „Ой, мороз, мороз...“, и приходил на каждую мою съемку, и все подсказывал, подсказывал...“

«Я не пишу о партнерах по театру. Театр есть театр, он диктует особое, бережливое отношение к партнеру. Если в кино чаще всего теза: детей не крестить, то в театре как раз наоборот — крестить, иногда и в буквальном смысле. А. Эфрос ставит „Вишневый сад“, Высоцкий назначен одним из исполнителей Лопухина, я — одним из исполнителей Пети Трофимова. В работу, по стечению обстоятельств, мы входим позднее и по отдельности репетируем слабее, чем наши товарищи, исполнители этих ролей. Но стоит нам сойтись вместе, происходит нечто, лежащее за пределами текста. Наши герои ищут друг друга, наши партнерские взаимоотношения рождают новые взаимоотношения между Лопухиным и Трофимовым, становится легко, просто и ужасно грустно, до слез. Это заметил посторонний, не знающий нас человек — Эфрос. Он ставит нас с другими исполнителями, так сказать, рознит — не выходит. Все вроде то же, а не то. Да и мы-то осознали это умом только потом, когда Эфрос недоуменно и растерянно как-то нам сообщил: „Играйте-ка, — говорит, — вы, ребятки, вместе. Вы вдвоем гораздо сильнее, чем каждый сам по себе в другой компании“» (10.09.75).

«В порядке дисциплинарного обуздания Владимира вывешен приказ о назначении меня на роль Гамлета, на что Владимир сказал мне: „Я уйду из театра в день твоей премьеры, уйду в самый плохой театр“» (08.02.76).

«Разговор наш назревал и должен был состояться.

— Володя! Мне надо тебе как-то попытаться объяснить, что происходит. Сделать мне это трудно, но я попытаюсь. Хочу я или не хочу, я чувствую за собой какую-то вину перед тобой за то, что репетирую Гамлета.

— Нет, не вину — неловкость.

— Суть не в этом, как ни назови. Начну с того, что всю эту историю с моим назначением я воспринимал как воспитательный момент по отношению к тебе, не более...

— Валерий! В своей жизни я больше всего ценил и ценю друзей. Больше жены, дома, детей, успеха, славы... денег, — друзей. Я так живу. Понимаешь? И у меня досада и обида — на него, главным образом. Он все сводит со мной счеты, кто главнее: он или я, в том же „Гамлете“. А я — не свожу. И он мне хочет доказать: «Вот Вас не будет, а „Гамлет“ будет, и театр без Вас проживет!». Да на здоровье... Но откуда, почему такая постановка вопроса? И самое главное, он пошел на хитрость: выбрал тебя, моего друга, вот, дескать, твой друг тебя заменит... Я не боюсь, гад буду, не боюсь соперничества. Было бы наплевать, когда б он пригласил кого угодно: черта, дьявола, Ольбрыхского, Смоктуновского... Но он поставил тебя, зная, что ты не откажешься, зная твою дисциплинированность, работоспособность... И еще... как-то я тебе говорил, что он предлагал мне Кузькина. И я чуть было... А потом: „Нет, пусть Валерий сыграет... Потом, если надо будет...“ Отказался. Единственное скажу, может быть, неприятное для тебя: будь у тебя такой спектакль, как „Гамлет“, шеф ко мне

с подобным предложением не обратился бы, зная меня и мою позицию в таких делах. Но я уважаю твой принцип: ты всегда выполняешь приказ, всегда играешь то, что дают, и не просишь никогда... Надо—надо, и честь имею. Раз ты этот принцип застолбил, сделал для себя законом, мне это твое качество нравится, ты так живешь...» (27.03.76).

«Один сон является ко мне довольно часто. Прихожу в театр играть „Дом на набережной“ и слышу вдруг по трансляции: идет „Гамлет“, и Гамлета играет... Гамлет. Но ведь Гамлет мертв, я это знаю?! Я нес крышку гроба его. Я за нее ответствен был—у меня документ есть... В паузе мы встречаемся... Все тот же он, не умиравший никогда. Во взгляде моем он слышит вопрос, очевидно, поэтому отвечает: „Это была ошибка... Я просто заснул, а вы поторопились... но я все слышал“. Боже мой, думаю, что он слышал? Что я наговорил, что наделал после его смерти? Он что, пришел спросить с меня за это? Он продолжает: „Почему мы редко видимся с тобой, Валерий, и мало говорим?... Надо чаще видеться нам и разговаривать“. Справа у рта запекшаяся струйка крови. След бритвы, думаю. Нет, он пользуется механической. Тогда от чего? Как будто удилами порваны губы... „Доиграй за меня второй акт, будь любезен, а я в Америку...“ В какую Америку, думаю, почему в Америку? А-а-а... вояж в Америку!! Да ведь это же Свидригайлов его!! Вон какая у них Америка!!

Тут мой сон обрывается, и холодно мне всякий раз.

За какими горами моя Америка?» (24.07.84).





Так, кажется, давно это было, как будто в другой жизни. А всего-то лет двенадцать прошло с того времени, когда мы вместе работали на съемках фильма «Арап Петра Великого». Впоследствии ему было дано длинное, как забор, название: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» — это как бы удаляло фильм от ассоциаций с неоконченным романом Пушкина (к которому фильм действительно отношения вроде бы и не имел) и несколько приглушало звучание главного героя — Арапа. Высоцкий сразу обратил на это внимание с грустной иронией: «Начал сниматься в заглавной роли. А теперь я после Петра и после запятой».

Актер без честолюбия невозможен, как певец без голоса. У Высоцкого было честолюбие. Вот уж кому не было чуждо «ничто человеческое». Но все проявления его личности были столь естественны и простодушны, так располагали к нему людей! Его обаяние было безграничным. Он любил нравиться, но в этом было что-то чисто детское. Я думаю, что в каждом человеке живет, спрятавшись глубоко, ребенок, которым он был когда-то. У некоторых этот ребенок сморщился, как карлик, у других раздулся, как капризный дебил. В Высоцком существовало одновременно несколько людей, и среди них, как равный с поэтом, мастером, авантюристом, мудрецом и лицедеем, жил ребенок, доверчивый, ранимый, дерзкий и застенчивый.

Как-будто в другой жизни... Мы были знакомы лет двадцать, лет шесть-семь дружили. По крайней мере, шесть лет он справлял свои дни рождения в моем доме, так что за шесть лет можно поручиться. Но отчетливо я помню лишь год общей работы. А после фильма мы только здоровались. Хотя и не ссорились.

С разными режиссерами он общался по-разному, в основном сохраняя дистанцию, что вообще было для него характерно. Это теперь у него развелось друзей, иные прямо чемоданами печатают карточки, где они случайно оказались рядом, и раздают на встречах. Но вот Станислав Говорухин снял его в пятисерийном фильме, и они остались друзьями. А у меня до фильма была дружба, а после осталось—знакомство. Не знаю, следует ли писать об этом? Конфликтные ситуации помогают выявить суть человеческого характера. Но—для чего мы пишем, как не для того, чтобы прибавить хоть крупицу к пониманию сложного, уникального человека? Среди многих ярких людей, которых я знал, Высоцкий был одним из самых необычных. А может, и самым. В нем все было «самое». И, естественно, я мечтал снять его в фильме. Сценаристы Юлий Дунский и Валерий Фрид, большие его почитатели, написали для него роль в фильме «Служили два товарища». Тогда это была его лучшая роль, она так и осталась одной из лучших. Потом эти же сценаристы хотели, чтобы он сыграл главную роль в фильме «Личное дело». Но белогвардейца Высоцкому разрешили сыграть, а вот роль маршала не доверили. Хотя его проба, по общему мнению, была лучшей. Так что параметры, в которых Высоцкому могла быть доверена глав-

ная роль, были ясны. Желательно подальше от положительного героя, лучше историческое и социально чуждое.

Идею, как делать «Арапа», я принес Дунскому и Фриду в пакете с идеей снять в этой роли Высоцкого.

Суть фильма состояла в том, чтобы выразить, как по-разному любят Россию царь и интеллигент. Один требует, чтобы все вокруг выражало его волю, подчинялось ей. А другой может любить Родину только свободной душой, и подчинение чужой воле для него невозможно. Так что с самого начала предполагался фильм не только про Арапа, но и про Высоцкого.

Мне очень хотелось показать его с экрана таким, каким его знали сравнительно немногие: интеллигентным, по-детски доверчивым и нравственно нестигаемым. Окружающая обстановка для такой задачи была, мягко говоря, неудобная. Актерские пробы превращались в унижительную для всех процедуру, сопровождавшуюся мелочным надзором, вкусовыми придирками и необъяснимыми запретами. Вдруг выяснилось, что нельзя снимать в ролях положительных персонажей Быкова, Евстигнеева и Чурикову. Якобы они своим неказистым видом унижают достоинство положительного героя. Елена Соловей и Олег Даль не рекомендовались по причине, что их лица носят нерусский характер. В страшном сне редакторам не приснились бы актеры, из которых сегодня, к примеру, Алексей Герман или Сергей Соловьев создают ансамбли исполнителей. Но у Высоцкого в кино были тайные почитатели на всех уровнях редакторской иерархии. И было бы неправдой сказать, что я преодо-

пел много препятствий на пути утверждения его на роль. Правда, было много соблазнов. Например, предложили поехать в Эфиопию на выбор артиста-эфиопа.

Да не нужен мне был эфиоп! Наш Арап с пяти лет говорил по-русски. Болел за Россию всей душой. Когда учился во Франции, привез с собой оттуда 300 книг и больше ничего. Поищи сейчас командировочного, который привезет из Парижа 300 книг. А ведь тогда проблема с барахлом еще острее стояла. Вилка, ложка были ценностью, любая заморская ерундовина ценилась. Когда после смерти Петра Ибрагим был сослан, а потом после долгих тягот возвращен из ссылки, то первое, что попросил — верните книги. Это был русский интеллигент. (У Высоцкого, в сущности, ничего не было из вещей. Только то, что необходимо. Книг тоже было немного. Но самые необходимые. Те, что перечитываются.)

— А не найдете артиста в Эфиопии, можете съездить в Париж. Там, говорят, много эфиопов и вообще много негров в разных театриках...

Открыто упорствовать я не стал, нашел в Москве пару эфиопов и сделал пробы, чтобы не выглядеть совсем несговорчивым. Тут вызвали меня в Совинфильм, где руководят совместными постановками.

— Из Франции вами интересуются. Парижское отделение компании «Парамоунт» хочет принять участие в фильме, но при условии, что роль Арапа будет играть негр. Гарри Белафонте хотел бы сыграть эту роль. Срочно подготовьте для них сценарий.

Но тут я быстро среагировал и собой остался доволен.

— Нет, говорю, очень сожалею, но у меня уже ансамбль набран. Месяца три-четыре раньше я бы, конечно, согласился. А сейчас поздно.

— Дурак,— говорят мне без злобы, с сожалением.— Мог бы изменить всю свою жизнь. Даже не понимаешь, какой шанс упускаешь...

Высоцкий все это знал, потому что почти каждый день бывал у нас. Ему в голову не приходило, что ситуация с его ролью может измениться. У него о дружбе были самые романтические представления. Как он пел в песнях, так и дружил. А такого, что это вот — деловые отношения, а отдельно от них — дружеские, этого он не понимал.

У него как будто была одна кнопка на полное включение для любого дела. Поэтому он так много успевал. Он был невероятно продуктивен. Нигде не халтурил, всегда был чем-то занят. А если отдыхает, то полностью переключается на то, что делает: ест — как зверь, слушает кого-то — будто ест глазами. Взял гитару в руки — закрыл глаза и уплыл куда-то, в свою страну. Его не надо было просить спеть. Он будто только и ждал паузы. Мясо съедено — тянется к гитаре. Но вот какая странность — пел только то, что сам хотел. Редко когда можно было упросить спеть что-то другое. Песни, которые он пел, постепенно менялись, по мелочам, по оттенкам интонации, паузам, синкопам. Потом песня переставала меняться. Тогда он прекращал ее петь. Он на нас, при нас отрабатывал, шлифовал новые песни. Когда шлифовка заканчивалась, песню слушала вся страна, записывали на бесчисленные магнитофоны. А в гостях, где можно расслабиться, начинал он шлифовать новую пес-

ню. Прислушайтесь, как тщательно они сработаны. Какое богатство оттенков! Кажется, что поет как птица, импровизирует. Но эта легкость накапливалась месяцами, по такту, по штришку. У него каждая песня — как маленький спектакль. А уж он-то знал, какого труда спектакль стоит. Так же и слова писал, тщательно и долго. То есть в первый раз он песню писал сразу всю, мелким почерком в тетрадке. А потом долго шлифовал, заменяя слова, иногда строчки, сокращая куплеты. Переписывал, когда помарок накапливалось слишком много, и снова шлифовал. Много раз он ночевал у нас. Ни разу я не заснул позже его. Все уже лежали, а он еще сидит, пишет. И ни разу я не встал раньше его. Проснусь, пройду мимо его комнаты в ванную, а он уже пишет. Писал он в основном допоздна ночью и рано утром. Днем была актерская работа: театр, кино, радио. Телевидение его не жаловало вниманием. Вечером спектакли, концерты. Потом друзья. Потом работа. И все с полной отдачей. Говорят, Петр Первый был такой же — всю жизнь спал по четыре часа.

Я не заказывал ему песен в картину. Он сам предложил: «Давай я тебе напишу». Он работал без договоров и авансов. Но, конечно, я брал на себя какую-то ответственность, соглашаясь. Сказал об этом композитору фильма Альфреду Шнитке. Тот говорит:

— Буду только рад. Я песен не пишу, а Высоцкого очень люблю. Если он не будет возражать, я их оркеструю. Но если хотите, чтобы он пел под гитару, тоже не проблема.

Для нашего фильма он написал две песни: «Сколь веревочка ни вейся...» и «Купола в

России кроют чистым золотом...». Конечно, проще было бы мне сейчас объяснить дальнейшее так, что редакторы эти песни отвергли. Кто проверит, давно это было. Но было не так. Я сказал Высоцкому:

— Эти песни весь наш замысел выносят наружу. Мы беззащитны будем против редакторских претензий. Я их вряд ли использую в фильме.

Он ни слова не ответил. А я и сейчас не знаю, как бы я с его песнями обошелся? Ему многие режиссеры заказывали песни, и чаще всего в конце работы по приказу вынимали. Вот тут и думай, как быть. Сделаешь расчет на сильный эмоциональный эффект, а в конце окажешься с дырами в эмоциональной ткани. Сейчас такое размышление кажется малодушным компромиссом. «Надо было бороться! Отстаивать!» Это пустые слова для тех времен. Тогда обсуждения называли совещания, где режиссеру предлагали поправки, которые он обязан был выполнить. Редкие места режиссерских импровизаций, отступлений от сценария—вон. И еще мелкие, чисто вкусовые поправки: поменять интонацию, заменить слово. Недопустимо было слово «дурак», совершенно невозможно «задница». Вместо «свобода» лучше было сказать «воля». Даже слова «мясо» и «колбаса» вызывали неудовольствие. Зачем поминать то, чего мало. Какие уж тут песни, где все слова в резких, неудобных сочетаниях! Было понятие: «неконтролируемый подтекст». Это означало нечто такое, в чем вроде бы вреда нет, но и очевидная польза тоже не проглядывает, а по-

нять можно каким угодно непредсказуемым образом. Геннадий Шпаликов как-то сказал, что скоро все песни будут состоять из одного только слова, которое станут петь на все мотивы: — Хорошо, хорошо-хорошо! Хорошо? Хорошо-хорошо-хорошо, хорошо-ooo!

А у Высоцкого конфликтная героика, монологи людей, которые идут и на подвиг и на смерть одновременно...

Третьим по значению персонажем фильма был шут царя Петра — Балакирев. Пригласил я на эту роль Олега Табакова. Он предложил рисунок, который мне очень понравился: Балакирев — как бы живая карикатура на Петра. Те же усики, тот же парик, при плутоватых глазах Табакова это было на редкость выразительно. Все это вызвало возмущение у руководства:

— Первый шут царя! Это же солидный человек! Зачем его окарикартуриать?

И шут, задуманный как своего рода альтернатива Арапа, как человек острого ума, но компромиссно-угодливого выражения горьких истин, — исчез. Необходимые по сюжету реплики мы передали генералу Ягужинскому, которого сыграл Табаков, повторяя рисунок, задуманный для Балакирева. Мне тогда казалось, что это разумный компромисс, позволяющий, не обостряя отношения к фильму, донести основы замысла. Но это была лишь ступенька в пологой лестнице моих компромиссов. Ступенька за ступенькой — набирался длинный путь. А я работал, не понимая до конца, на какой путь стал. Воображение работало с молодым напором. На каждый вопрос мы с энергией выдумывали разнообразные ответы. Я помнил предыдущую свою картину «Гори,

гори, моя звезда», где практически фильм возник из ответов на поправки и в итоге оказался лучше, чем первоначальный вариант. Иногда фантазия, упираясь в невозможность прямо высказать какую-то идею, находит такое парадоксальное творческое решение, которое в другой ситуации в голову бы не пришло.

Но если надо мной колыхался флажок с девизом «компромисс», Высоцкий шел по жизни иначе. Он выводил свои войска на поле с напутствием: «Все или ничего! Победить или умереть!» Компромисс был ему не то чтобы неприемлем, но физиологически невозможен. Его самовыражение было полным, тотальным и нерасчлененным. Песня была моделью всего его творчества, всей его натуры.

Как могли встретиться два столь разных подхода к творчеству? Конечно, конфликтно. Как выражался этот конфликт в поведении Высоцкого? Внешне — никак. Он никак не выражал неприятия чужого образа мысли и действия. Не спорил и не говорил плохо за спиной. Даже взглядом не отмечал своего неудовольствия развитием событий. Этот предельно открытый человек был самым скрытным из известных мне людей. Все неуютное ему прятал вовнутрь. Там это варилось, и наружу выходило только в песне.

Его сдержанность а работе на площадке была абсолютной. Казалось, ему нет дела ни до чего. Но в том, что это было не так, я имел возможность убедиться много раз. Он фиксировал все и по-своему реагировал на все, даже на то, что обычный человек пропустит мимо.

Белла Ахмадулина как-то сказала: «Есть ум, а есть главный ум». Он есть у женщины,

потому что ей природой дано родить и вырастить человека. И надо это сделать так, чтобы уберечь ребенка от всех бед и правильно воспитать его. И вот простые необразованные женщины проявляют такие чудеса ума, которым позавидовали бы любые интеллектуалы. Высоцкий весь свой «главный ум» употреблял в творчество. Слишком много у него было детей. Он «выхаживал» одновременно по 8—10 песен. Два-три месяца вырастала в нем каждая. Это и была его главная жизнь. Не видная никому, но поразительно интенсивная, с бешеным, неослабевающим напором.

Железное здоровье Высоцкого было всем известно. Сухой, мускулистый, с сильными руками, волей марафонца и взрывным темпераментом спринтера. Он без проблем не спал ночь-две. Окружающие даже не знали об этом. И стратегию своей жизни он строил на том, что он здоровее всех вокруг, и когда все падают от усталости, он — в форме.

Судьба подарила мне возможность близкого общения с несколькими людьми, которые стали символами времени. Пять лет я проучился бок о бок с Василием Шукшиным во ВГИКе, в мастерской М. И. Ромма. В чем-то Шукшин и Высоцкий были очень похожи. Во-первых, в маниакальном трудолюбии. Шукшин писал ночью... В конце жизни, по рассказам, его нормой на ночь была банка растворимого кофе. Признаюсь, мне сказали — даже две банки. Но в это я поверить не могу. Хотя — почему? У таких все другое. Другой огонь сжигает их изнутри. Актер Бурков рассказывал, что патологоанатом горько покачал головой и сказал о Шукшине: «Нормальное, полно-

стью изношенное сердце 86-летнего человека. Нет миллиметра, не истрепанного жизнью до последней степени. Чудо, что он еще жил».

Высоцкий жил с таким напором и шел навстречу своей судьбе с такой открытой беззащитностью, что не надо гадать, какое у него было сердце. За это мы его и любим, и не можем забыть. Он осуществил мечту каждого человека выразиться полностью, всем существом сразу: и умом, и сердцем, и телом, и голосом, и мыслью, и страстью. Ничтожной доли расчета нет ни в одной из его песен, а их сотни. Как не могут соврать пес, тигр, птица, так не мог слукавить он. Великий зверь искусства, существо с интуицией зверя, энергией и бесстрашием зверя, ловкостью и хитростью зверя. И при этом он принят как свой у интеллектуалов, у детей и мудрецов.

Я хотел бы отметить еще одну грань его личности и таланта.

Александр Блок как-то заметил, что очень мало может сказать в искусстве человек, лишенный профессионализма, даже с божьей искрой. Он сказал как-то по-другому, складнее, с болью за несовершенства и невежество встреченных им начинающих поэтов. Но суть я передал верно. Высоцкий был поразительным профессионалом. И чрезвычайно много работал над собой, организовывая свои возможности, приноравливая их к требованиям режиссеров, драматического материала, приспособливая их к несовершенствам техники.

Обратили ли вы внимание на то, что любая песня с записью песен Высоцкого доносит каждое слово? А ведь их переписывают по 10—20 раз. И все равно все слышно, все ясно. Знали

бы вы, сколько знаменитых актеров перед микрофоном выглядят беспомощно, мнут слова, проглатывают звуки, неразборчиво бормочут самые эмоциональные фразы. Это — непрофессионально.

Высоцкий выдумал себе манеру исполнения с дрящимися, но жесткими согласными, раскатистым «р», открыто и ясно звучащими гласными. Он сделал это естественной частью глубоко личного, оригинального и эмоционально насыщенного исполнения. В жизни он говорил совершенно не так — тихо, мягко, с застенчивой улыбкой, богатым набором лукавых, насмешливых интонаций. А в театре его голос достигал последних рядов балкона.

Богата и разнообразна его пластика. Обладая уникальной памятью, он сразу запоминал все указания и схватывал на лету любые коррективы. С ним было удобно ассистентам оператора, он до миллиметра точно занимал положение перед объективом кинокамеры.

Он был бы прекрасным исполнителем не только в глубоких реалистических драмах, но и в фильмах действия, насыщенных прямой борьбой, погонями, трюками. Представить трудно, как много удивительного мог бы сделать этот человек, если подумать, что он только набирал силу. В сущности, он прервал путь в возрасте молодого Жана Габена. Он был бы лучшим актером восьмидесятых годов. Именно такого сейчас ищут режиссеры. А место, оставленное им, пустует. Точнее сказать, кровоточит вечно свежей раной.





— Вот Высоцкий,— сказал как-то один из его почитателей,— все его любят, все его понимают, от кухарки до академика.

Ему казалось, что сказанное возвышает поэта, придает его работе большую значимость, но я не мог с ним согласиться, потому что «всеобщая» любовь — критерий подозрительный.

Люди, воспитанные на пустой, бездумной развлекательности, поэзии Высоцкого не примут; не умеющие самостоятельно мыслить его сарказма, его иронии не оценят; равнодушные ко всему, кроме личных проблем, тревоги и боли его не поймут. Для них его поэзия в лучшем случае — пустое место, в худшем — как красная тряпка быку.

Настоящего поэта всегда сопровождают не только почитатели, но и отрицатели, не только ценители, но и хулители, и даже гонители. У поэзии Владимира Высоцкого и того и другого вдоволь, и это, наверное, один из главных признаков ее истинности и высоты. Печально только, что иногда в качестве хулителей выступают именующие себя поэтами.

Настоящий поэт рождается из духовных потребностей общества. Ими насыщена атмосфера. Чем острее они, тем резче и ярче голос поэта. Это размышления для способных размышлять, и огромная популярность В. Высоцкого явилась результатом не «всеобщей» любви, а признания единомышленников.

Единомышленников оказалось много.

Я написал две песни, ему посвященные. Вот
вторая, сравнительно недавняя.

139

О нашем дворе

Как наш двор ни обижали — он в классической
поре.

С ним теперь уже не справиться — хоть он
и безоружен.

Там Володя во дворе,
его струны в серебре,
его пальцы золотые, голос его нужен.

Как с гитарой ни боролись — распалялся
струнный эвон.

Как вино стихов ни портили — все крепче
становилось...

Кто сначала вышел вон,
кто потом украл вагон* —
все теперь перемешалось, все объединилось.

Может, кто и нынче снова хрипоте его не рад.
Может, кто намеревается подлить в стихи елея...

А ведь песни не горят,
они в воздухе парят,
чем им делают больнее, тем они сильнее.

Что ж печалиться напрасно? Нынче слезы лей —
не лей.

Но запомним хорошенечко и повод и причину:
мы воспели королей
от Таганки до Филей,
пусть они теперь поэту воздадут по чину.

* Тут, наверное, нужно пояснение — для наших потомков. Они могут спросить, о каком вагоне речь. А в наши дни существовала легенда, что вагон с книгами В. Высоцкого «Нерв» был украден злоумышленниками и до читателя они дошли не полностью, не в том количестве, в котором их напечатали.



После окончания ВГИКа я работал у выдающегося советского кинорежиссера Бориса Барнета. Однажды в 1958 году к нам в группу пришла пробоваться «мужская часть» старшего курса Школы-студии МХАТ. Все сразу обратили внимание, конечно же, на высокого, могучего парня с густой гривой курчавых волос и громовым голосом—это был Епифанцев, еще студентом сыгравший Фому Гордеева в фильме Марка Донского. Однако Барнета заинтересовал другой студент. Невысокий, щупловатый, он держался особняком от своих нарочито шумных товарищей, изо всех сил старающихся понравиться режиссеру. За внешней флегматичностью в этом парне ощущалась скрытая энергия.

— Кажется, повезло!—шепнул нам Барнет, не сводя глаз со щупловатого студийца.—Вот кого надо снимать...

Разочарованные ассистенты принялись горячо отговаривать Бориса Васильевича, и он, только что переживший инфаркт, устало отмахнулся:

— Ладно, ладно! Успокойтесь!.. Не буду...

И, действительно, снял другого артиста, который всех устроил.

Размышляя о феномене Высоцкого и его драматической судьбе, я прежде всего вспоминаю этот случай. С растущей горечью думаю, как мало он сыграл в кино ролей, достойных его уникального дарования. Хотя список фильмов с

его участием на первый взгляд впечатляет — количеством.

142

Сначала мешала внешность: небольшой рост, непривычное для кинематографа лицо. В нашем кино сложились свои, отличные от театральных, амплуа — ни под одно из них Высоцкий не подходил. А тут еще рано определившееся в нем стремление к пластической выразительности, парадоксальности актерских ходов. Все это отпугивало кинорежиссеров, находившихся во власти запоздалого отечественного «неореализма», работавших с актерами по единственному принципу: «Проще, еще проще, совсем просто, совсем ничего не играй! Теперь можно снимать!» И тем не менее уже в 60-е годы Высоцкого приглашали сниматься, правда осторожно, — на роли подростков, добреньких юнцов, второстепенных молодых героев. Сейчас это звучит неслыханно, но Высоцкого с его неповторимым голосом даже переозвучивали!

В январе 1967 года, после громкого успеха «Республики ШКИД», мне поручили снять картину по пьесе Льва Славина «Интервенция». Ожесточенный штампами, накопленными нашим кинематографом в фильмах о гражданской войне, обдумав свой замысел, я дал обширное интервью (нечто вроде манифеста), в котором призвал возродить традиции театра и кино первых лет революции, традиции балаганных, уличных, скomorошеских представлений. Ко мне зачастили артисты, желающие принять участие в этом эксперименте.

Так в моем доме появился молодой Всеволод Абдулов. Он с места в карьер начал рассказывать о Высоцком, о том, как он играет на

Таганке. Я почти два года не был в Москве и слушал его с интересом. Но больше всего Сева говорил о песнях Высоцкого. Кое-что из этих песен я уже слышал, но мельком, на ходу, поэтому с недоверием отнесся к чужим восторгам. Вскоре появился сам Высоцкий. Он сильно изменился. Возмужал, налился очевидной силой, но был по-прежнему тих и сдержан. А в том, как он нервно слушал, ощущалась все та же скрытая энергия. То, что он будет играть в «Интервенции», для меня стало ясно сразу. Но — кого? Когда же он запел, я подумал о Бродском. Действительно, одесский подпольщик, непрерывно кем-то прикидывающийся — то офицером-интервентом, то гувернером, то моряком, то соблазнителем «бульвардые», то белогвардейцем, — этот человек только в тюрьме, на пороге смерти может наконец стать самим собой. Бродский — это агитатор-артист. Трагикомический каскад лицедейства, являющийся сущностью роли, как нельзя лучше соответствовал творческой личности Высоцкого — актера, поэта, создателя и исполнителя своеобразных песенных миниатюр. Не случайно эта роль так заинтересовала Аркадия Райкина, о чем он мне сказал однажды и даже показал некоторые сцены.

Началось многоэтапное сражение за утверждение Высоцкого на роль. Сопротивление художественного совета и режиссеров студии я преодолел сравнительно легко. Опасения сводились, как я уже говорил выше, к специфической внешности, не соответствовавшей утвердившемуся представлению о социальном киногерое, и к исполнительской манере, слишком «театральной» в их понимании. Пришлось напомнить об

104
условности стиля будущей картины, а в довершение я заявил, что актерская манера Высоцкого в данном случае должна стать эталоном для других исполнителей.

Однако, чем дальше, чем выше по чиновно-иерархической лестнице продвигались мои кино-пробы, тем проблематичнее становилась вероятность утверждения. В глазах руководства Высоцкий в это время был прежде всего создателем подозрительно известного цикла песен. Назовем его условно: «На Большом Каретном». Сразу испугался тогдашний директор «Ленфильма» И. Киселев (кстати, большой любитель попеть блатные песни в своем, узком кругу). И все-таки Высоцкого удалось утвердить. Потому, во-первых, что в «Интервенции» кроме Бродского было еще несколько главных ролей, но главное потому, что его кандидатуру поддержал крупнейший художественный авторитет тогдашнего «Ленфильма» — Григорий Михайлович Козинцев.

А Высоцкий начал работать, не дожидаясь официального утверждения. И как работать! Он привнес в нашу работу такую страстную, всеобъемлющую заинтересованность в конечном результате, которая свойственна разве что молодым студийцам, создающим новый театр. Его занимало решительно все: он вникал в процесс создания эскизов, волновался по поводу выбора природы, принимал горячее участие в моих спорах с композитором, участвовал даже в пробивании сметы, которую нам безбожно резали.

Однажды он пришел темнее тучи: редактор картины сказала ему, что у Севы Абдулова неудачна проба на роль Женьки Ксидиас. Высоцкий попросил у меня разрешения взглянуть на

эту пробу. Посмотрел и стал еще мрачнее: он очень любил Севу.

— Сева хороший артист!—вздыхнул он.— Но это не его роль...

И он привел на пробу совсем еще молодого Валерия Золотухина.

— Валерочка — это что надо! — вкрадчиво рокотал он мне в ухо.— А с Севочкой я поговорю, он поймет...

Высоцкий приезжал к нам в Ленинград при первой возможности, даже если не был занят в съемках. Он появлялся улыбаясь, ощущая себя «прекрасным сюрпризом» для всех присутствующих. Потом шел обряд обниманий, похлопываний, поцелуев. От переполнявшей его доброжелательности доставалось всем, в том числе всеобщей любимице осветителю Тоне, для чего он специально взбирался на леса. Затем Высоцкий шел смотреть отснятый материал. Возвращался покрасневший, счастливый и растроганно, молча обнимал меня и художника Михаила Щеглова, с которым очень сблизился.

Повторяю,—он старался присутствовать на всех съемках, даже если это были не его сцены. Правда, на «Интервенции» такое отношение к работе было нормой для всех исполнителей. Как я уже говорил, в картине в основном снимались добровольцы, прочитавшие в газете мое интервью-обращение. Именно так в группе появились Юрий Толубеев, Ефим Копелян, Владимир Татов и многие другие замечательные актеры. Все они работали радостно, азартно, а главное—были преисполнены горячей любви и предупредительной нежности друг к другу. Но даже в этой могучей компании Высоцкий выделялся. Прежде

всего — абсолютной естественностью существования в условной стихии фильма, а еще — творческой щедростью в работе с партнерами. Сколько предложений по ходу съемок он сделал Золотухину, Татосову, Аросевой и даже Толубееву! Как бескорыстно, неутомимо помогал он Копеляну подготовить и записать песню «Гром прогремел, золяция идёт!». Копелян до этого в кино никогда не пел и с надеждой, даже с некоторой робостью учился у Высоцкого.

Ах, как мне, с моим пристрастием к чеканной выразительной форме, не хватало такого актера в прежних моих картинах!

Нас сближало многое: стремление к парадоксальности, к «обратным ходам», к эпатажу устоявшихся зрительских привычек. Тогда, в 1967-м, начиная «Интервенцию», мы с ним думали о необычном для нашего кино жанре — мюзикле, в котором почти не будет традиционных вокальных и хореографических номеров, привычно чередующихся с разговорными кусками. Наш фильм — мечтали мы — будет пропитан ритмом и музыкой изнутри. И только ближе к финалу, в кульминационной сцене, может возникнуть развернутый вокальный номер. Так замысел «Баллады о деревянных костюмах» возник у нас с Высоцким почти одновременно.

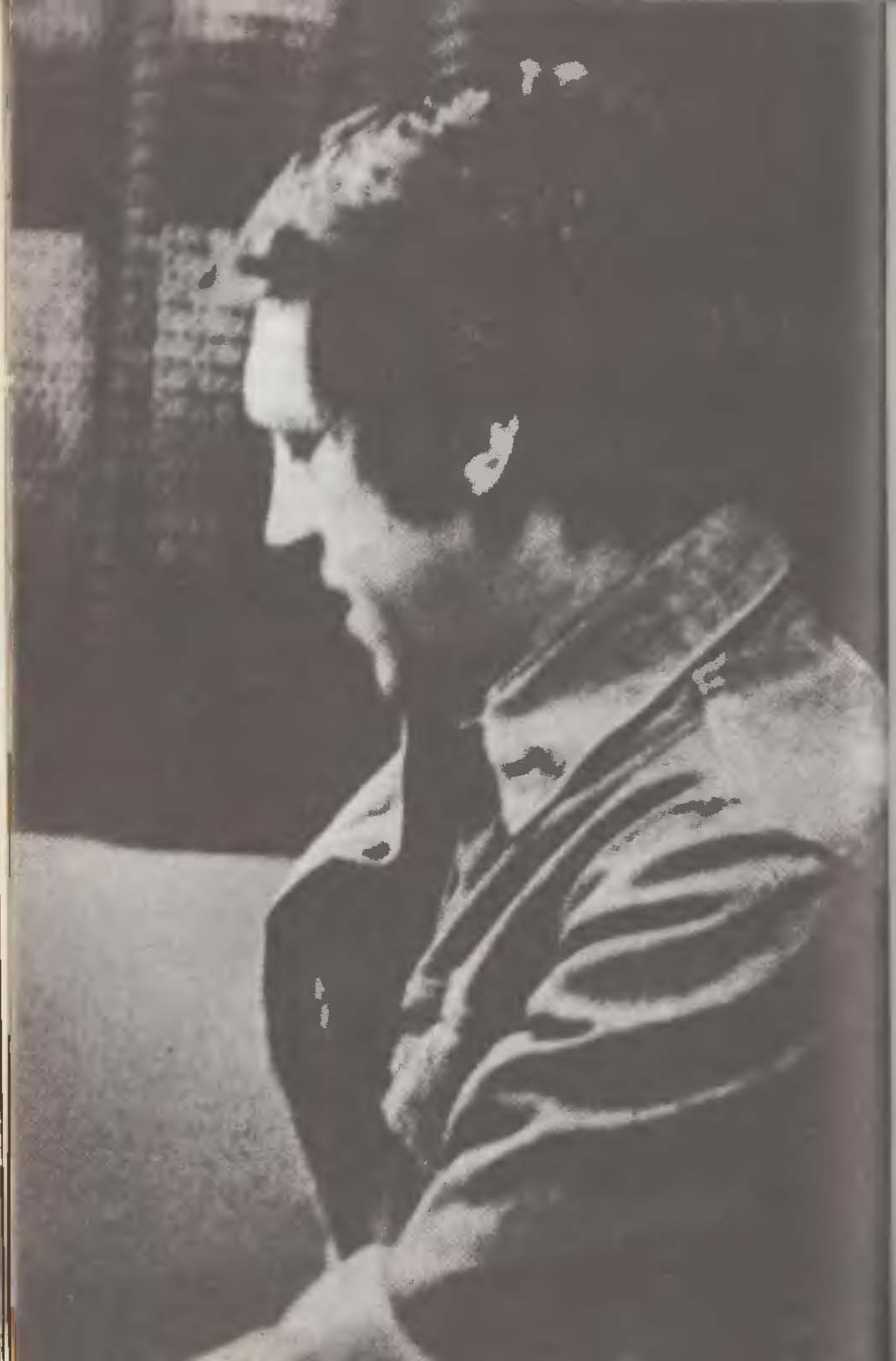
Было много общих планов и надежд. Тогда казалось, что впереди еще годы и годы! А в реальности потом была работа над песнями к другим моим фильмам и нечастые общие премьеры. Были дни и ночи замечательного общения — в Ленинграде, в Одессе, в Москве, в доме моей матери, а затем целое лето у Высоцкого и его мамы, Нины Максимовны, на улице Телевидения.

Там он приютил меня в трудную минуту. Было пятилетие Театра на Таганке с многочасовым ночным спором о музыке... Была подготовка к его режиссерскому дебюту, в котором я должен был быть худруком. Было многое... Но уже никогда больше не пришлось мне снимать его в своих картинах. Не внушали мы с ним доверия товарищам, от которых зависело тогда наше кино.

Высоцкий очень любил «Интервенцию», поэтому весть о том, что картину положили на полку, была для него тяжким ударом. В числе основных обвинений в адрес фильма было такое: «изображение большевика Бродского в непозволительной эксцентричной форме».

Он не смирился с этим актом и собственноручно написал руководству письмо, которое потом подписали все снимавшиеся в картине — все, кроме одной актрисы. У меня до сих пор хранится копия этого замечательного документа. Мне не раз приходилось писать подобные заявления, и я, как и мои коллеги, в подобной ситуации невольно прибегал к общепринятому стандартному языку с демагогическими оборотами. Высоцкий же и в этом случае остался самим собой — он написал искреннее, взволнованное письмо, индивидуальное по слогу, свободное от привычного чиновничества и газетных формулировок. Письмо называлось: «Прошение».

Через восемь лет мне удалось неофициально восстановить копию картины. Мы смотрели ее вдвоем в пустом зале. Он сидел непривычно тихо и продолжал сидеть, когда зажегся свет. Постаревшее лицо его померкло. Потом все так же молча встал и прижался ко мне...



«Но песня, песнью все пребудет,— писал Блок,— в толпе все кто-нибудь поет...» И дальше: «Вот голову певца на блюде царю певица подает...»

Моя мать, теперь уже тоже покойная, простая русская женщина, коренная москвичка,—простая, как природа и как вселенная, русская в столь широком понятии, как Шаляпин, или Мусоргский, или Суворов, женщина в полном смысле этого слова, — женским типом и нравом походила на Аллу Константиновну Тарасову,—перовская, а училась на радиокурсах в центре, час ехала трамваем, и в шестнадцать лет еще бегала по Мясницкой босиком,—так вот моя мать, еще когда жили мы все в одной комнате и набивались молодой своей компанией в эту комнату «погудеть», посидеть с девчонками или сами, и это еще даже не называлось тогда «завалиться на хату»,—просто мы все любили друг друга, не могли расстаться, дружили упительной своей, почти мальчишеской еще дружбой,—так вот моя мать, Тарасовна, как все мы ее звали, сразу его выделила. Отметила, хотя все мы были каждый в особь, талантливые и острые, показавшие свои первые зубы и уже получившие по этим зубам,—а он-то был помоложе, считай пацан, ему еще надо было заявиться. Впрочем, нет, его приняли сразу, но у него, при его всегдашней скрытой деликатности и тонкости, был даже некоторый пиетет перед иными из

нас, кто уже «держал банк». Так вот мать его выделила и приняла сразу, услышала, поняла. Он таким, как она, безмужним, работающим, выволокшим на плечах детей и войну, настоявшимся с барахлом по рынкам, не гулявшим с майорами за чулки и тушенку,—им и в подушку-то пореветь не было сил,—а вокруг тем более уже вскипала, пробулькивала, чтобы кипеть потом ключом. мачеха-ложь, требовала восторга, требовала «выглядеть», шагать парадно со звонкой песней и барабаном, как научены они были комсомолом тридцатых годов и своею «Синей блузой»: «Мы синеблужники, мы профсоюзники, мы все советская братва...»—вот таким, как она, он попадал, ударял сразу в самое сердце.

Мы свет выключали, сидели в обнимку по углам, уходили на кухню, на лестницу,—вижу его с гитарой сидящим у матери в ногах, он поет, она слушает, бра на стенке горит—лампа, обернутая газетой. Мать то носом зашмыгает, прослезится над «жалостной» песней, то захохочет и просит повторить: «Как? Как?» И он опять споет, и раз, и два—пожалуйста: «Она ж хрипит, она же грязная, и глаз подбит, и ноги разные, всегда одета как уборщица.—А мне плевать, мне очень хочется».

Трагедия его смерти окрасила теперь все по-иному, личность переходит с годами в образ, легенда лепит этот образ уже не совсем таким, каким были личность, творчество художника, лирический его герой или тем более роли, сыгранные в кино и театре, соединяются, напластовываются,—выходит новый, строгий, трагический, «поздний» Высоцкий. А ведь был он—сама

веселость и легкость. «Был я весел, толк веселым есть ли, если горе наше непролазно?» — это Маяковский, «Во весь голос». А Высоцкий был весел и легок московской особой легкостью, повадкой, манерой, юмором, все умел, ничего не боялся: идти, прыгнуть, догнать, отшить, сказануть, врезать — хоть словом, хоть как. И все равно быть веселым, не злым, не подлым, — и в драке, и в песне, и в подлестничной и в чердачной любви можно все равно быть благородным и сволочью, и всем это видно, и все это знают. А уж в своем-то дворе, в своей компании и подавно.

Наши же «старшие» учили нас «мужчинству»: не трусить никогда, защищать слабого, платить первым, в крови стоять за друга, жалеть детишек и баб. Но пуще всего — беречь свою честь, держать марку, не подличать ни ради чего. Мы и сами были с усами, дети послевоенной Москвы, ее дворов, рынков, очередей, сугробов, двухсменных школ, бань, пивных, киношек, парков, набережных, коммуналок, метро, ночных трамваев, электричек и вокзалов, — слепые нищие и мордастые инвалиды пели по вагонам уже не разрешенную «Прасковью» Исаковского, автора самой «Катюши»: «А на груди его светилась медаль за город Будапешт».

Ничто не возникает из ничего.

Была у нас школа и комсомол, неистовый патриотизм, — «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» — радио и газеты, песни, военное дело, великие праздники, на которые выходила вся Москва — «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля», и мы бежали счастливые, в белых навывпуск воротничках. Но

был двор и быт, безотцовщина, дрова в чулане и капуста в кадке, вечно мокрые ноги и коленки в заплатках. Мы кончали школу, а наши вчерашние однокашники, карманники, «щипачи и скокари», друзья дворовые, успевали вернуться с первой отсидки, цыкали по-блатному сквозь зубы, дарили «шалавам» чулки и пели лагерное, тоже балладное, тоже жалостное: «Ты начальничек, ключик-чайничек, отпусти до дому...»

Так одна тема цеплялась за другую, одна выходила из другой — все было повязано войной. И все больше расходились ножницы: как поется по радио и пишется, и как есть на самом деле. Особенно слова линяли и блекли, отчуждались от живого языка: «хлеб» называли «хлебобулочными изделиями», «снег» — «снежным покровом», «сегодня» — «сегодняшним днем». А потом и пуще того: кривду — правдой, черное — белым. А еще немецкий пленный, вчерашний зверь с плаката, в обед на стройке пиликал на губной гармонике, и вдруг жаль брала: тоскует «фриц».

Когда все чистенькие, аккуратные, послушные, когда ничего нельзя, надо ходить парами, то хочется, как Тому Сойеру, бежать к Геку Фину и быть, как Гек Фин, свободным, грязным, неумытым и голодным, но свободным. «Пока свободой горим, пока сердца для чести живы!» Бедный Пушкин! Счастливый Пушкин! Он был как никто свободен и потому так взвивался от всякой несвободы, так бился за волю свою. Интересно, почему аристократа и «француза» Пушкина, певца «младых Армид» и какого-то там разочарованного Онегина, числим мы самым народным, и национальным, и великим? «И долго буду тем

любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я Свободу и милость к падшим призывал». Вот и все. Вся программа. Пункт первый, пункт второй, пункт третий. Для любого поэта. Чтобы быть «долго любезным народу». И за что, как не за язык, живой и «уличный», обрушились на голову молодого автора «Руслана» первые критики? Потому что, когда все врет, один язык не врет. Живой и народный язык.

И еще: не зря цыгане да разбойники. Цыган, казак да разбойник, каторжник вечно были героями крепостной Руси, ее песен и сказок. Они были свободны. И хмель—хоть на час, а даст свободу. Кто не мечтал: пистолет за кушак, стать на лесной дороге и отомстить обидчикам. От Алеко Пушкин шел к Дубровскому, Гришке Отрепьеву и, наконец, к Пугачеву: он знал, что за свободу надо идти на бунт и на смерть,—другой платы свобода не берет. «Сколь веревочка ни вейся, а совьешься ты в петлю».

Высоцкий, а до него Окуджава и другие певцы вернули песне народную, исконную систему: сюжет. Скажем, «Девочка плачет, а шарик летит»—сюжетная песня, баллада, целая история, вернее, история целой жизни. Точно такая же, как в песне: «А мы просо сеяли, сеяли,—А мы просо вытопчем, вытолчем». Нетрудно сделать малый литературоведческий розыск и увидеть, что все известнейшие русские народные песни, то есть любимые народом и век с ним живущие, несмотря ни на что,—это песни, сочиненные поэтами. Даже «Вечерний звон» перевел Иван Козлов в 1827 году! А Иван Суриков написал «Рябину» и «Степь да степь кругом...».

Но просто сюжета мало,— нужно, чтобы он был такой, один-единственный, который западает в душу и там навсегда остается. Если вложит певец в песню свою судьбу и свое сердце, тогда и выйдет настоящая песня.

А в русской песне всегда боль и грусть, тревога и тоска. Мы много лет делали вид, что наша новая, советская жизнь напрочь избавляет человека если не от боли, то уж от грусти и тоски наверняка, и песни поэтому сочинялись преимущественно бодрые и радостные. Но они не ударяли по сердцу. Они ударяли по барабанным перепонкам. Не будем сегодня говорить, что у нас не было хороших песен,— наоборот, были, и замечательные. Чего стоит «Священная война», которую так любил Высоцкий. Но потребность в песне душевной, в песне, говорящей «всю» правду, и вместе с тем в песне веселой или иронической была непомерно велика. Вот на какой спрос ответил Высоцкий. На народную потребность в песне, полностью искренней и полностью правдивой. По времени, по герою, по стилю, по простоте, по сложности, по музыке (мотиву), по слову. «Интеллигенция поет блатные песни»,— скажет потом Евтушенко. Но это были уже не блатные, а вроде бы блатные песни, это уже была стилизация, искусство, поэзия, Эзоп.

«Я московский озорной гуляка, по всему Тверскому околотку в переулках каждая собака знает мою легкую походку...» Их часто сравнивают, Есенина и Высоцкого, особенно теперь, после ранней смерти второго,— «Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время». Но мне кажется, все непохоже, хоть и

тот пил, и этот пил, и жена, и судьба, и известность, слава, слухи, народная любовь и официальная критика,—нет, Есенин представляется в сравнении с Высоцким изысканным, почти рафинированным поэтом, сразу веришь в его цилиндр и лерчатки. И жизнь у Есенина еще была сравнительно «мирная»: ругали, но издавали, били, но не унижали, не принимали, но признавали, спорили, но в открытую. В энциклопедиях писали: «кулацкий поэт». Но писали! Но издавали! Но ругали! Но не замалчивали же! Не молчали! Не делали вид, что никакого такого поэта вообще нет!.. «Каждая собака» знала наизусть, все пели, изо всех окон звучал,—дети, школьники, студенты, генералы, министры и секретари райкомов, все любили, а вид делали, что нет его. Не напечатали ни строчки, издали две пластинки. Кто виноват? Неужели никто? Конкретно?..

Сочетание реализма и серьезности приводит к отчаянию. Сочетание реализма и юмора—к сатире. Новое, «послекультовское» направление в литературе, кино, театре, живописи, музыке было борьбой реализма против псевдоромантического, искажающего жизнь искусства сороковых—пятидесятых. Больше невозможно было перекрашивать. Жизнь кричала: «Я вот такая!»

Теперь переслушиваешь, перечитываешь—поражаешься: он написал обо всем! Просто «энциклопедия русской жизни»: работяги, шоферюги, студенты, врачи, ученые, спортсмены, солдаты, летчики, старики и старухи, дети, «зеки», «психи», начальники, артисты, егеря и капитаны,—все есть, все здесь. А время? Все конкрет-

ны, все из сегодняшнего мира, не перепутаешь. Про космос, про холеру, про телевидение, про шахматы, про ученых на картошке, про Тюмень, про таможду, про Китай и т. д. Но не просто так,—через героя, через своего лирического, или через таких, еще от Зощенко идущих «Вань» и «Зин», но тоже сегодняшних, до жути реальных, юморных. Кажется, можно сказать: Высоцкий бьет по мещанству. Да, бьет. Но тоже по-своему: бьет, а жалеет. Смеется, а сам плачет. Потому что что-то не так. «Нет, ребята, все не так, все не так, как надо». И пьянь не виновата, что пьянь, и даже дрянь не виновата, что дрянь. Кому-то это надо... Помню, как пронзил нас всех сыгранный Роланом Быковым скоморох из «Рублева». Помню, что говорил Высоцкий про этот образ и про этот фильм, думаю, что они оказали на него немалое влияние, хотя к тому моменту он уже был самым собою. Попадало, совпадало. Шукшин снял «Живет такой парень», я сочинял «Старый Новый год», потом «Ремонт» (помню, как в кабинете своего режиссера Высоцкий, упав на колени, просил взять лъесу, дать ему сыграть Красную Кепку—есть в «Ремонте» такой персонаж, дворовый малый, хулиган, голубятник и любитель розыгрыша).

Сильный ветер продувал наше стрельбище, все яснее становились мишени, хотя делалось их отчего-то не меньше, а больше: пережитки «культы» все никак не изживались, ходила шутка, что личности нет, а культ есть. Во всяком случае система обеспечения его неприкосновенности оставалась жива.

Однажды Высоцкого позвали «куда надо», спросили: что уж он так резко, бывает, поет об

иных событиях нашей жизни? Он ответил смело: «А думаете, все так просто проходит, так легко дается?» И гражданская тема и лирика пронзены были и пробиты одним: «Сколько веры и леса повалено, сколь изведено горя и трасс, а на левой груди профиль Сталина, а на правой — Маринка, анфас». Извера, измена, изгон, издолье, — пережитые народом, или частью народа, или пусть немногими, хоть одним, — какое это имеет значение для поэта, его сердце болит и от малого, — все более переполняли его песни. Но сколь же плакать? Надо же жить! И тогда являлась «Охота на волков» — гимн свободе и борьбе за нее. «Наши ноги и челюсти быстры. Почему же, вожак, дай ответ — мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет?!»

Эта песня пришла, когда так думали все. И он сказал за всех. Все думали, а он сказал.

Поэты знают: песня рождается вмиг. Я видел, как он мог написать, подобрать на гитаре песню за два часа, — в чужой грязной кухне, у зимнего окна, откуда дует, ночью, когда все повалились спать. «Сядь, послушай...»

Поэты знают: это, в конце концов, нетрудно. Нынче есть такие мастера, что катают любые тексты — в любом количестве — о чем хочешь — когда надо. Я не в осуждение, я для сравнения. У него тоже бывали и тексты и подтекстовки. Но его подтекст никогда не бывал мелок. Ну что, в конце концов, такое охота на волков? Охота и охота. Но он придумал этой охоте героя, волчонка, он придумал сюжет и судьбу, он взял в подтекст новое мироощущение.

Он был последователен. Он начал с того одного, «который не стрелял», и продлил его тем, который не хочет тупо «превращаться в живую мишень». Народ не выносит и не забывает злодейств. Он бывает вынужден покориться, но оценка злодейству и злодею всегда однозначна.

Поэты знают: дело не в словах. (Это говорю я, рыцарь словесности!) Да, в конце концов, не в словах. Слова приходят сами. Дело в облаке, которому они придают форму. В дыхании. В ветре. В вихре. В урагане. Поэзия—это страсть и неистовство. Можно бить газетой мух, а можно биться с самим Князем Тьмы. И если пусто—словом не обманешь.

Поэты знают: надо умирать, чтобы спеть, чтобы выложиться. Хлебников: «Когда умирают кони — дышат, когда умирают травы — сохнут, когда умирают солнца — они гаснут, когда умирают люди — поют песни».

В скорбный для московского народа день похорон Высоцкого моя мать, которую я по разгильдяйству и в суматохе того дня не взял с собою в театр на панихиду, все хотела прорваться через кордоны, плакала, хлестала милиционера букетом, кричала, чтоб пустили, что он ей родня. И вся его родня, вся Москва (за исключением немногих) кричала о нем в тот день, как о павшем сыне. Кликушества, идолопоклонничества было и осталось много, но что теперь поделаешь, пусть: у немых, у лишившихся лоющего горла и сердца своя благодарная песня, свои слезы.

Мне чудится: он сидит там, у матери в ногах, смеется, поет ей «Нинку».



ДАВИД САМОЙЛОВ

Его колея

18

Владимиру Высоцкому хотелось узнать, можно ли его читать. Именно поэтому он однажды обратился к Слуцкому, Межирову и ко мне с просьбой послушать его стихи и отобрать их для «Дня поэзии». Это была, кажется, единственная прижизненная его публикация.

Высоцкий — незаурядный поэт. Естественно, что у его поэзии есть противники. С одной стороны, снобы, не находящие в его искусстве утонченности; с другой — самозванные законодатели вкуса, усматривающие в его стихах разрыв с русской литературной традицией. Отнесись к Высоцкому без предубеждения, легко опровергнуть и тех, и других. Сейчас о феномене Высоцкого пишут серьезные социологи и философы.

Новый городской романс (так условно назовем этот жанр) явился как потребность на пороге шестидесятых годов и стал художественной реальностью в творчестве Булата Окуджавы. Новое качество романсу придал Высоцкий. Поэзия тогда вышла на эстраду, которая требует не только слова, но и музыки.

«Эстрадность» порой употребляют как термин отрицательный. Между тем уже не однажды именно она решительно освежала русскую поэзию и помогала ей выйти из застоя. Так было в конце прошлого века, когда поэзия Алухтина и городской романс в значительной мере сформировали раслев Блока.

Высоцкий — человек городской, выросший в московском дворе. Он обладает актерским талантом перевоплощения и так сливается со своими персонажами, что слушатель невольно их смешивает с автором. В этой исповеди от имени других Высоцкий предельно достоверен и правдив. Он бьет по наследию мрачных времен и ставит решительную черту под ними.

Поэтика Высоцкого шире поэтики городского романса. В ней слышны некрасовская и есенинская традиции, отголоски Северянина, гражданский накал Маяковского. И выучка у баллады двадцатых годов. Новаторство Высоцкого — а оно несомненно и ждет серьезного изучения — основано на широкой базе русской поэтической культуры, от романтизма до двадцатого века. Язык его песен построен на сочетании романтически высокого стиля с современным московским просторечием.

Я уверен, что Высоцкий в его лучших образцах обретет широкого читателя, ибо в чтении явственнее новизна его слова и его правда.

Мы познакомились в начале шестидесятых. Это было удивительное время. Тогда в кино, в литературе появились новые имена.

Но среди них первыми «властителями дум» были Булат Окуджава, поэты Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Геннадий Шпаликов — люди, которым было что сказать и о себе, и о своем поколении, и о времени. Мы читали их стихи захлеб, их песни звучали в компаниях, мелодии их «мурлыкали» в дороге. Их творчество не давало нам покоя, настолько оно было глубоко и своеобразно по смыслу. Это была свежая струя после долгих лет среди привычных, стандартных для слуха и глаза явлений в искусстве.

Несколько позже появился Володя Высоцкий. Должен признаться, что я не сразу принял его песни всерьез. Возможно, потому, что громкий хриплый голос, которым они исполнялись, уводил от смысла текста, а в мелодии слышалось что-то достаточно примитивное, ходовое, узнаваемое. От всего этого складывалось впечатление чего-то полублатного, полуцыганского. Лишь потом, когда мне удалось прочитать его песни, я понял, почувствовал, что появился новый поэт, совершенно не похожий на Булата Окуджаву, своеобразный, самобытный народный поэт.

Булат Окуджава и Владимир Высоцкий.

Люди разных поколений... Но есть в их творческой судьбе общее. Они появились в опреде-

ленное время нашей жизни, когда все было «понятно», все «правильно». А у этих поэтов все было «неправильно». Их беспокоило, волновало, не давало спокойно жить то, на что другие закрывали глаза: невнимание друг к другу, хамство, несправедливость. Их волновали, и очень остро, судьбы людские. Поэтому они чаще обращались к сердцам простых людей. Особенно Высоцкий.

На многочисленных встречах со зрителями меня обязательно спрашивают: были ли вы знакомы с Высоцким? Я рассказываю о наших встречах, и когда речь заходит о его песнях, то всегда советую почитать их, как стихи, чтобы навсегда основательно понять, что прежде всего сила его песен в текстах.

Его колоссальная популярность не случайна. Такой поэт должен, непременно должен был появиться.

Неизвестно, как бы развивалась его литературная судьба, ведь не секрет, что издательства не печатали его стихов. Но, к счастью, тогда появились магнитофоны. Высоцкий звучал в подъездах, на голубятнях, в клубах... Вот одна история.

Однажды, когда он снимался в Одессе, зашел ко мне во время перерыва (я жил напротив киностудии), чтобы я сварил ему овсянку или манную кашу (болел желудок). Пока я кухарил, прибежал ассистент режиссера и сообщил ему, чтобы он не торопился на площадку, что в следующих сценах фильма он не потребует.

Чтобы не терять зря времени, Володя предложил записать на магнитофон его новые песни. Я тоже взял гитару, чтобы подыграть ему, благо

музыкальные аккорды и ходы его мне были знакомы. Вечером ко мне пришли знакомые студийцы, которые собирали все записи Высоцкого, и переписали песни.

Буквально через полтора месяца я был приглашен со своей картиной на встречу с кинозрителями в Нижний Тагил. Прихожу в кинотеатр. Слышу, в директорском кабинете звучит наша с ним фонограмма. И первым вопросом, когда я открыл дверь кабинета, был: Петр Ефимович, расскажите, как была сделана эта запись. Всего полтора месяца прошло!.. Тысячи километров!

Вспоминаю ночь накануне похорон Володи... Я задержался на студии с монтажом новой картины и приехал на Таганку поздно. Вышел из метро и долго смотрел на огромную людскую толпу около театра... Протиснулся к входу...

...Свечи, гитара под окном, за стеклом маленький лист ватмана с надписью — дирекция, партком, местком сообщают: «Умер артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий».

Артист... Но я уже тогда понимал, что его время как поэта тоже придет, потому что невозможно было, чтобы оно не пришло. Слишком много ему удалось сказать о нашей жизни, о хороших и плохих ее сторонах. Он задел нас за что-то очень живое.

Меня часто спрашивают, как я отношусь к музыке Высоцкого. Спокойно. Если у Булата Окуджавы музыка и стихи едины, то у Володи подчас она служила лишь аккомпанементом. Он писал много текстов, и ему не хватало времени, требовательности отрабатывать мелодию. Он часто «ломал» ее, подгоняя под рифму стиха, что порой получалось неудачно. Но он так мастерски

исполнял свои песни, что звуковой ряд обычно уходил на второй план, оставался смысл строк. Может быть, эта музыкальная грубоватость и вызывала у слушателей особое доверие к его песням, притягивала к ним. Может быть, в этом и есть та авторская индивидуальность, которая зовется песней Владимира Высоцкого.

Многие удивляются содержанию его песен, обвиняют в романтизации уголовного мира, в «идеализации антиобщественных элементов» и принимают только песни последних лет. Вопрос сложный.

Володя вначале пел, что называется, «для компании». Он мог петь сутками. Как-то мы жили под Одессой, в палаточном городке. Прилетел Высоцкий на два дня — отдохнуть. К вечеру развели костер, шашлыки готовить стали... Володя запел. И вдруг со всех сторон из темноты к костру начали сходиться туристы. Обступили его. И он пел для них до утра, пока солнце не взошло. Он был певун. И пел с удовольствием.

Как-то собралась у меня дома в Одессе большая компания: Хуциев, Швейцер... Уже не помню кто. Конечно, появился со съёмок и Высоцкий. Была дикая жара, распахнули окна. Час ночи, а Володя поет. Дворничиха милиционерша позвала. И все кричит ему на ухо: «Вот уже несколько часов — все пеньё и пеньё». Все перекричать Володю хотела. Да разве можно?

Спросили у меня однажды: «А Высоцкий — явление в искусстве?» Думается, что, когда много лет нельзя о чем-то говорить, когда есть запреты, то, что в конце концов вырывается наружу, уже становится явлением для людей, для времени. Явлением этого периода.

Володя Высоцкий не снимался в моих картинах. У каждого режиссера сложился свой тип героя. Не было в фильмах, которые я ставил, персонажа, походившего по темпераменту, внутреннему миру, внешности на Володю. Он актер другого плана, другого жанра. Мне кажется, что фильмы, в которых он работал, не смогли в полной мере раскрыть его талант. Не нашлось при его жизни в кинематографе режиссера, который смог бы «размять» его, помочь ему в совершенстве раскрыть его творческую индивидуальность. Правда, есть у него удачная роль в фильме С. Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

В театре — другое. Там ему удалось сделать больше.

Я недавно был в Бразилии со своей картиной и давал интервью корреспонденту крупной газеты. И меня поразило, что там очень хорошо знают песни Высоцкого. Мировая известность. Может, мы до конца еще не понимаем, какого масштаба был человек.





Думаю, можно сказать, что творчество Владимира Высоцкого — биография нашего времени. Конечно, биография — это нечто связанное, последовательное, а он в своих сюжетах и темах как будто разбросан, но в огромном числе песен, пропетых в разные времена, Высоцкий затронул очень важные или, лучше сказать, очень больные моменты нашей истории. Он рассказывал нам почти обо всем, чем жили мы, чем жил народ — при нем и до него. Пел о войне, о трудном послевоенном времени, когда он был мальчиком, но, как оказалось потом, все хорошо ухватил, почувствовал и понял... Пел о больших делах и стройках и о тяжелых временах тридцать седьмого, о космосе и космонавтах, спортсменах и альпинистах, моряках, пограничниках, солдатах, поэтах, шоферах — о ком угодно, обо всем. Великая, фантастическая его популярность, возникшая так неожиданно, объяснима: Высоцкий вошел в самую гущу народа, он был понятен многим, почти всем.

Я думаю, Высоцкий не смог бы стать столь популярным человеком, если бы не соединил в себе таланты большого поэта и большого артиста, певца. Но и это не все, еще очень важно, что он взял на себя смелость выражать самое насущное и никем не выражаемое: то истинное, чем народ на самом деле болел, о чем действительно думал, что было предметом повседневных разговоров простых людей между собой.

Он начинал с того, что сочинял и пел для «своих», для людей, его окружавших, для тех, кого он лично знал и кто знал его. А своими оказались миллионы, песни разлетелись стремительно и звучали в квартирах интеллектуалов, в рабочих и студенческих общежитиях, их пела молодежь, школьники.

...Как-то весной он устроил большой концерт в воинском клубе и пригласил меня. Я в первый раз видел его выступление на публике, и меня поразило, с каким восторгом и пониманием слушали его и солдаты, и офицеры в самых высоких званиях. Они все воспринимали его тоже как своего.

Высоцкий был поэт остросатирический, он высмеивал бюрократов, чиновников, подхалимов, дураков и — в особенности — обывателей, пожирателей благополучия. У него очень много злых и чрезвычайно острых песен об этом слое городского мещанства, и, что особенно странно, все эти люди, персонажи его сатир, тоже его любили, как будто не понимали, что он над ними издевается. В этом есть какая-то загадочность, и объяснить ее так вот сразу я не берусь.

По своему человеческому свойству и в творчестве своем он был очень русским человеком. Он выражал нечто такое, чему в русском языке я даже не могу подобрать нужного слова. Немцы называют это менталитет, приблизительно это переводится как склад ума, образ мышления, характер души. Так вот, менталитет русского народа Высоцкий выразил, как, пожалуй, никто другой, коснувшись при этом глубин, иногда уходящих очень далеко... И ширинв его охвата почти безгранична: от жизни ученых до

криминальных слоев. И все это было спаяно вместе, и все это была картина жизни современной ему России.

На его похоронах было так много людей, что даже те, кто, казалось бы, понимал тогда его значение, не ожидали такого. Конечно, Высоцкий снимался в кино, выступал на эстраде, был артистом Театра на Таганке, но ведь он не был в официальном почете, о нем почти не писали, не говорили по радио... Оказалось, что Высоцкий не нуждался ни в каком официальном признании, прославлении, вернее, его талант не нуждался: талант все сделал сам. Это безусловный урок, если говорить об искусстве и судьбе в искусстве.

Мы недостаточно ценим людей при их жизни. Все мы, кто его знал и любил, понимали, что это большой человек, но подлинного масштаба личности Высоцкого в общем-то никто не осознавал. Это тоже урок — очень горестный, — и, как все уроки, он не пойдет впрок человечеству. Так было, и так будет, но каждый раз, когда это происходит с конкретной судьбой, становится очень горько.

С Володей Высоцким мы по-настоящему познакомились только в последние годы, когда я стал автором Театра на Таганке, так что встреч было не так уж много. Тем более, что в последнее время он все время куда-то уезжал, куда-то уносился. Иногда казалось, что это какое-то не очень осмысленное движение. Вдруг он подхватывался и говорил на бегу: «Улетаю в Алма-Ату» или «Завтра надо лететь в Сочи». А повод чаще всего был простой: надо кому-то помочь, друг ждет, для него надо что-то сделать.

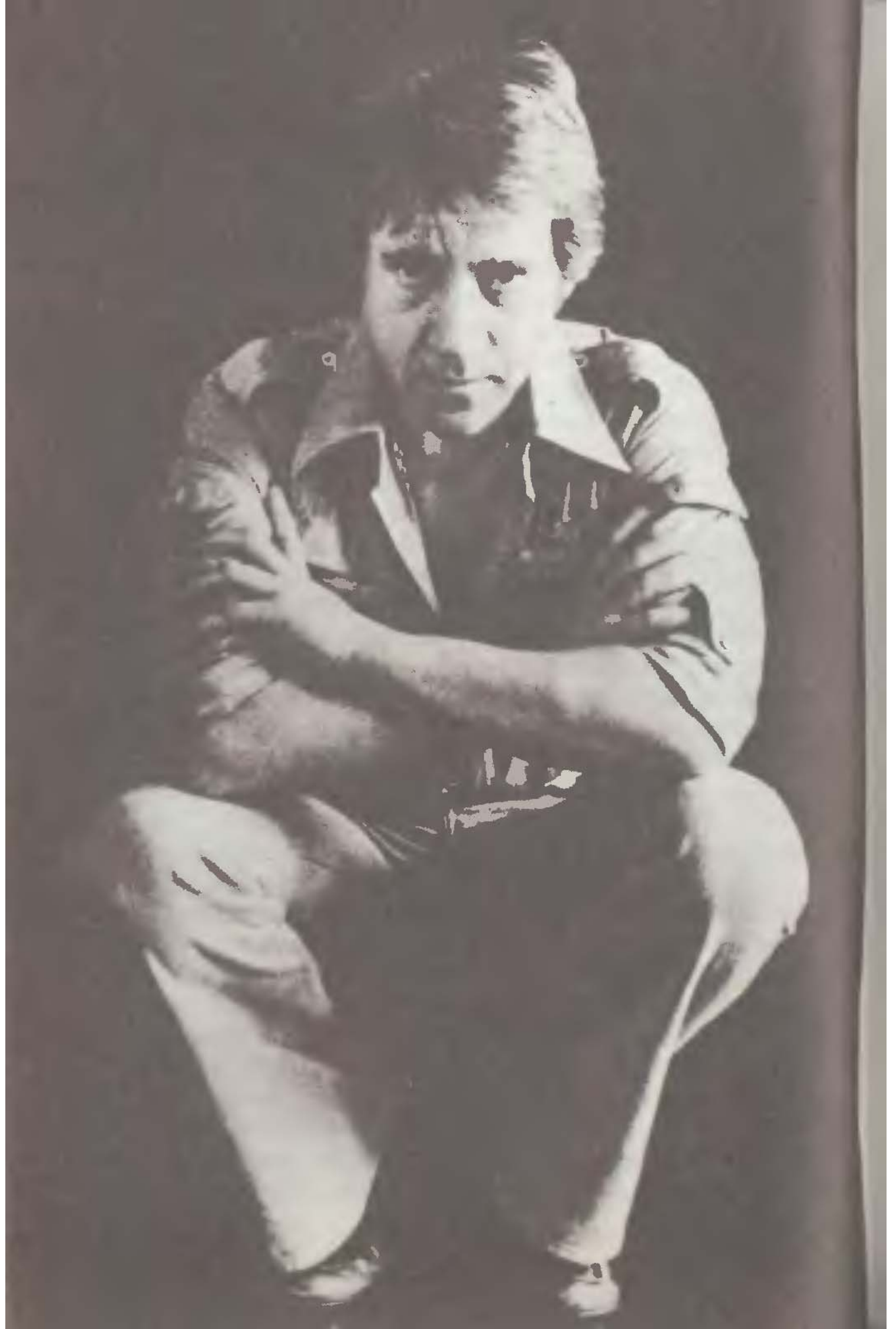
Помню, встретил его на Красной Пахре, он ехал в Москву. Володя остановил машину, вы-

шел, мы расцеловались. У него была такая трогательная манера: никогда не мог просто проехать, обязательно останавливал машину и очень торжественно выходил здороваться. В тот день была премьера «Дома на набережной» на Таганке. Я спросил: «Володя, вечером придете на банкет?» — «Нет, Юрий Валентинович, простите, но я уезжаю». — «Куда?» — «На лесоповал». Оказалось, куда-то в Тюмень, в Западную Сибирь...

Последний для Высоцкого Новый год мы встретили вместе. Я запомнил эту ночь только потому, что там был Володя. В одном доме на Пахре образовалась довольно большая, но какая-то пестрая компания. Пришли Володя с Мариной. Володя принес гитару. Он был очень приветлив со всеми, мягок, спрашивал о делах, предлагал помощь, а утром кого-то повез в Москву, потому что никто другой не вызвался. Когда прощались, моя жена сказала ему: «Володя, ну как же так, мы просидели целую ночь, и вы даже не спели ничего, а мы так хотели послушать». Он ответил: «Так ведь другие же не хотели, я видел... Ну ничего, в следующий раз специально соберемся».

Это была ужасно нелепая ночь. Среди нас был Высоцкий, единственный в этом большом и шумном застолье человек со всенародной славой. И он был там скромнейший, простой, деликатный, всем нужный человек. Это было его естественным качеством, природным, а потому очень редким.

...Россия всегда любила своих истинных поэтов. На могилы Пушкина, Есенина, Пастернака приходят люди, кладут цветы, читают стихи. Теперь так будет с Владимиром Высоцким.



Как комья земли, били цветы в стекла катафалка. Они летели со всех сторон. Их бросали тысячи рук. Машина не могла тронуться с места. Не только из-за тесноты и давки на площади. Водитель не видел дороги. Цветы закрыли лобовое стекло. Внутри стало темно. Сидя рядом с гробом Володи, я ощущал себя заживо погребаемым вместе с ним. Глухие удары по стеклам и крыше катафалка нескончаемы. Воющие сиренами милицейские машины не могут проложить ему путь.

Площадь и все прилегающие к ней улицы и переулки залиты человеческим морем. Люди стоят на крышах домов, даже на крыше станции метро. Потом меня не оставляла посторонняя мысль: «Как они туда попали?» И до сих пор как-то странно видеть Таганскую площадь иной, буднично-суетливой. В тот июльский день казалось: мы навсегда на ней останемся.

А я вспоминал веселое Володино «народу было много!». Этими словами, возвращаясь после выступлений, он шутливо опережал мой привычный вопрос: «Ну, что, много было народу?»

— Этт-я. Народу было много.

Потом Юрий Трифонов скажет: «Ну, как умирать после Высоцкого?!»

Трусливой фальшью будет вспоминать о Володе вне его отношений с известными людьми, ныне живущими. Многие сегодня изменили свое прежнее мнение. Некоторые дополняют его «но-

выми» впечатлениями или упускают что-либо мешающее.

176

Из недавней книги А. Вознесенского «Проробы духа» читатель узнает об особой близости двух поэтов. И это, разумеется, правда, подтвержденная цитатами, не относящимися, впрочем, к последнему периоду жизни Высоцкого. Но был и он, этот последний сложный период. Вопрос о приеме в Союз писателей он задал поэтам-профессионалам. Вопрос этот так и не решился. Дело даже не в формальностях. Володе было горько сознавать, что слова о неизменной поддержке, которые он в изобилии слышал, так и остались словами.

При жизни он многим не давал покоя. Массу хлопот доставил своей смертью. И продолжает доставлять.

Непросто складывались его отношения с современниками. Некоторым он вынужден был говорить: «И не надейтесь, я не уеду». Он любил Родину, но не слепо. Народу своему не льстил. Не поучал его. Мессией себя не считал. Но «время на дворе» тонко чувствовал.

Полярность оценок — свидетельство масштабности явления. Равнодушно его никто не воспринимал. Вокруг его имени продолжают кипеть страсти. От восторженного принятия до ожесточенного отрицания. Эмоции, как известно, не терпят дозировок, тем более — строгих. Восприятие Высоцкого во многом зависит от жизненного опыта слушателя. Папа римский, например (Володе рассказывали), очень смеялся, слушая его песню про себя. А Бобби Фишер, хоть и понимает русский язык, не понял юмора слов: «и в буфете, для других закрытом».

В Доме кино, в театральном фойе я не раз наблюдал одну и ту же картину. Привлекая почтительное внимание публики, ходят холеные, заласканные, в регалиях, «народные». Появляется Высоцкий—и их как бы нет в зале, их просто не видно.

Говорят, он любил эпатировать. Это неправда. И слава его не была скандальной. И счастье он полагал не в ней. Как-то, гостя у меня в Пятигорске, дал интервью местному телевидению. Обычно он избегал публично отвечать на вопросы журналистов. На их укоры однажды ответил встречным упреком: «Когда-то я хотел высказаться с вашей помощью, вы не хотели выслушивать. Теперь я вправе не хотеть». А тут он неожиданно согласился. Ожидая легких вопросов, не был первоначально настроен на серьезные ответы. Посерьезнел после второго вопроса. Удивился: «Вы всем такие вопросы задаете?» Ответил: «Счастье—это, может быть, путешествие в душу другого человека—в мир писателя, поэта. Но—не одному, а с человеком, которого ты любишь, мнением которого дорожишь».

Любил путешествовать в мир Ахматовой, Пастернака, Гумилева, Трифонова, Ахмадулиной. Большим поэтом считал Евтушенко. Знал стихи Маяковского, но оценивал их по-своему, не так, как принято.

Недостатка в общественном признании у него не было. Его песни знала вся страна. А он хотел видеть свои стихи опубликованными. Это естественное желание поэта. Но—не встретился ему такой редактор, как Некрасов. И «Современник», увы, не возродился в «Нашем современнике». В

связи с этим вспоминаю грустные слова Володи: «Они меня считают чистильщиком». До сих пор не уверен, точно ли я понял смысл употребленного слова. Но «их» он обозначил поименно.

В Министерстве культуры его спросил какой-то чиновник:

— Вы не привезли мне из Парижа пластинки?

— Зачем они вам? Ведь вы можете их издать здесь.

Тогда спросивший подошел к сейфу, вынул оттуда выпущенные во Франции пластинки с песнями Высоцкого и похвалился: «Мне их уже привезли».

Успеха любой ценой не хотел. Не мог, например, писать по заказу, если сам не прочувствовал тему, не вжился в подробности ситуации. Только поэтому не взялся за написание песен для фильма Р. Кармена о Чили. Боялся банальностей и повторов.

Когда один молодой певец размышлял вслух, не перейти ли ему на исполнение конъюнктурных песен, шлягеров, Володя похлопал его по плечу: «Брось, Саша, думать об этом. Продаться всегда успеешь». И прав был Кобзон, решительно разuverивший высокопоставленного чиновника от искусства в возможности «приручения» Высоцкого.

Володя радовался чужим успехам и всеми силами старался помогать талантливым людям, которым не везло. Зависти был абсолютно чужд.

Будучи сам очень доброжелательным к людям, поражался и страдал, не получая ответного доброжелательства. Он был чутким и, в силу этого, легко ранимым человеком. В 1978 году, помню, он вернулся поздно ночью после просмотра фильма, в котором снимался. Растолкал

меня от сна: «Представляешь, актеры видят себя на экране, радостно узнают друг друга. Появляюсь я—гробовое молчание. Ну, что я им сделал?! Луну у них украл? Или „Мерседес“ отнял?»

Да, был у него пресловутый «Мерседес», символ престижа для снобов. Но—только не для Высоцкого. Вообще, он не ценил материальные выражения успеха. И это не противоречит его стремлению быть опубликованным, изданным. Дух его жаждал материализации, вещественного закрепления в пластинках и книгах. На блестящей поверхности «Мерседеса» личность его не отражалась.

Доброту, честность, искренность и открытость ценил в людях превыше всего. Выше ума и таланта. С брезгливостью относился к людям фальшивым, чувствовал их за версту. В Нью-Йоркском аэропорту его встретил работник нашего посольства и принялся наставлять по части благонравия и хорошего поведения за границей («Говори, что с этим делом мы покончили давно...»). Тут же поспешил сообщить, что билет на обратный рейс уже куплен—на неделю раньше запланированной даты, с отменой шести объявленных концертов. Потом ритуально обнял проинструктированного соотечественника и даже поцеловал, должно быть, по долгу службы. «Через несколько дней,—говорил мне потом Володя в Москве,—я на выступлении вдруг испытал неудержимое желание вытереть щеку, но гитара не давала, вязала руки».

Он всегда уклонялся от фальшивых объятий. Но иногда они заставляли его врасплох. И воспитанность ограничивала возможность выразить отношение. В доме Высоцкого встречаю однажды

известного кинодеятели, повествующего о себе в обычной для «кинозвезд» самоуверенной манере. Володя больше молчит, отвечает вяло и неохотно. Чувствуется, визит его тяготит, но законы гостеприимства связывают. После ухода визитера вздыхает: «Талантливый и умный негодяй опаснее бездарного. Есть люди, после общения с которыми хочется сразу вымыться».

У Володи была масса знакомых, что не удивительно при его популярности. Но близок был он с очень немногими, во что трудно поверить, слушая и читая воспоминания о нем. И буквально единицы могли прийти в его дом совершенно свободно. Известно, что гости — воры времени. Незваные воруют со взломом. За ними Высоцкий стремился поскорее закрыть дверь. Столь же неохотно раскрывал он душу. Вообще не любил пускаться в долгие излияния. Был обычно сдержан и молчалив. Но каким интересным рассказчиком становился в минуты особой открытости, находясь в кругу людей, ему приятных! Как целиком предавался хорошему настроению, дружескому веселью! Потом солнечные дни сменялись пасмурными.

Бесконечные беседы и споры с ним незабываемы. Никогда не хватало времени. Часто они начинались на кухне. Я обычно сидел на окне, Володя — стоял у плиты. Спыхватывались — уже утро, скоро на репетицию... Из многих людей, с которыми я встречался в жизни, Высоцкий остался для меня самым интересным.

Он болезненно переживал моменты, когда чья-то влиятельная рука останавливала творческую работу. Прошел кинопробы на роль Пугачева. Потом пришлось сбрить бороду, отпущенную

для съемок,—на роль не утвердили «сверху». Пригласили сниматься в фильме «Земля Санникова», для которого написал несколько прекрасных песен. Но тогдашний директор «Мосфильма» сказал: «Что, у нас, кроме Высоцкого, играть некому?» Окружающие не сделали даже робкой попытки возразить. Эту роль в «Земле Санникова» сыграл Олег Даль. Сыграл прекрасно, по словам Высоцкого. Он неизменно отзывался о Дале с большой симпатией, ценя в нем и актера и человека.

К творчеству относился не просто серьезно—истово. Хотя и мог подвести театр—улететь куда-нибудь в далекие края и петь там. Он мечтал написать сценарий и поставить фильм о Колыме, сыграть в нем главную роль. Начал собирать материал. При этом отказался от участия в зарубежном фильме, хотя его и прельщали очень высокими гонорарами.

Как-то я рассказывал ему об одном типе, некогда меня поразившем. Представьте человека со всеми внешними признаками интеллигентности, в расхожем, конечно, представлении: с тонкими чертами лица, вежливого, культурного, спокойного, со вкусом одетого. На Колыме он выигрышно смотрелся на весьма контрастном фоне. Сидя рядом с ним в президиуме совещания передовиков проходческих бригад, я нечаянно увидел, что он рисовал, и прекрасно. Говорили, что любит и знает музыку, сам музицирует... (Мои описания внешности людей иногда веселили Высоцкого: «У тебя почему-то всегда получается хороший человек—с голубыми глазами, а какая-нибудь гадость—непременно рябой».) Так вот, этот Алексей Иванович рябым не был. Элегантно

носил свои костюмы сдержанных тонов. Предпочитал серые. Короче, хорошо смотрелся. Но однажды, за много лет до встречи в почетном президиуме, я видел, как он ударил нагнувшегося человека ногой в лицо. Должность у Алексея Ивановича, нелишне заметить, была грозная, так что ответного удара он не опасался.

Высоцкий неоднократно возвращал меня к этому случаю, уточнял подробности, детали внешности колымского начальника. Рассуждал: «Как это получается? Значит, человек меняется в зависимости от обстоятельств? От должности? Озабочены ли эти люди репутацией в глазах собственных детей? Вдруг тем будет стыдно за своих отцов?»

Черные люди его жизни представляли в разных обличьях. Но он их безошибочно опознавал. Во Франции его поразили так называемые «гошисты»:

— Пригласили меня спеть на их митинге. Увидел их лица, вызывающий облик, услышал их сумасбродные речи, прочитал лозунги,— и ужаснулся. Наркотизированная толпа, жаждущая насилия и разрушения. Социальную браваду они подчеркивали даже одеждой. И напрасно уговаривала меня растерянная переводчица, удивленная моим отказом спеть перед готовыми бить «под дых, внезапно, без причины».

Через некоторое время он прочитал мне своё стихотворение «Новые левые, мальчишки бравые».

... Не суетитесь, мадам переводчица,
Я не спою, мне сегодня не хочется.
И не надеюсь, что я переспорю их.
Могу подарить лишь учебник истории.

Он настолько отвергал насилие, что подозрительно относился к людям, накачивающим мышцы:

— Мне кажется, они готовятся кого-то бить. Скорее всего — слабых.

Это перекликается с его известными строчками «Бить человека по лицу я с детства не могу». Тут уместно вспомнить, что Володя одно время занимался боксом. В упоминавшемся пятигорском интервью так определял человеческий недостаток, к которому относится снисходительно:

— Физическая слабость.

Сам же был спортивным, сильным. И к спорту относился положительно, разбирался в нем. Но физическую силу ставил неизмеримо ниже нравственной.

Володя прекрасно знал законы улицы: «Я рос, как вся дворовая шпана». Он разделил в своем детстве судьбу военного поколения, травмированного безотцовщиной и заброшенностью.

«А у Толяна Рваного братан пришел с Желанного». («Желанный» — прииск на Колыме, где одно время был начальником Алексей Иванович.)

Он сделал себя сам, самостоятельно выстроил свою личность, свой духовный мир. Натерпевшись в ранней молодости от агрессивного хамства, в зрелом возрасте не выносил даже эпизодических проявлений его. Подходят к нам на Арбате двое развязных, подвыпивших парней внушительного вида. Конечно же — «Дай прикурить». Слегка нахмурившись, Володя достал зажигалку. Всегда их носил с собой, и зажигались они сразу. А тут щелкает — не зажигается. Парень узнал: «А, Высоцкий! Что-то ты обнаглел в последнее время». Не забуду Володину вспышку

гнева и его ответ, достойный и сокрушительный — в прямом смысле слова.

Он должен был выступать на писательском юбилее. И в последний момент узнал, что людям, которых он пригласил, не оставили входных билетов. Высоцкий не выносил пренебрежительного отношения к людям, кто бы они ни были. Он сразу понял, что тут сыграло свою роль элитарное чванство писательской братии по отношению к «непосвященным». И высказал все это хозяевам и распорядителям банкета. Немедленно и на «устном русском». Спев одну песню, более продолжать не захотел, уехал.

О себе он мог сказать словами Гамлета: «Вы можете расстроить меня. Но играть на мне нельзя».

Нередко слышу: «Высоцкого попросили, и он спел», «его пригласили в компанию, на банкет, на светский раут, и он пошел» и т. п. На самом деле он был очень избирателен в личных знакомствах. И уж, во всяком случае, пел, когда хотел петь. Не иначе. Вот несколько эпизодов.

Случайно оказавшийся в обществе Высоцкого подвыпивший майор «заказал» еще и культурную программу: «Спой, Володя!» Высоцкий не терпел фамильярности в обращении с собой и сам не допускал ее с другими.

— Слушай, майор, — не выдержал он наконец, — постреляй, а?!

Звонит Высоцкому секретарь очень высокопоставленного лица:

— В субботу или в воскресенье Вас хотели бы слышать и видеть у себя такие-то.

— Я не располагаю для этого временем, — сдержанно ответил Володя.

— Как?!—не поверил своим ушам секретарь, к отказам не привыкший.—Вы и им так же ответите? (В этом многозначительном «им» звучало почтительное придыхание.)

— Повторяю: я не располагаю для этого временем. Так и передайте.

В песне это выглядит несколько иначе: «Меня зовут к себе большие люди, чтоб я им пел „Охоту на волков“».

Очень развито было в нем чувство собственного достоинства. В Иркутске молча и хмуро слушал тосты в свою честь. Вскоре ушел, сославшись на недомогание. Объяснил потом:

— Боялся взорваться. Там было несколько абсолютно чуждых мне по духу людей. Не мог я для них петь.

Однажды всю ночь проговорил с седенькой старушкой из деревни Большая Глубокая, на Култукском тракте, у Байкала. Здесь, на берегу Байкала, он стоял, восторгаясь чистым воздухом, а потом вдруг сказал: «Вот бы здесь пожить Алле!» Я не понял, о ком речь. А он говорил о Демидовой, которая плохо себя чувствовала тогда. Он любил путешествовать не один. И люди, близкие ему, неизменно жили в его душе и в памяти.

На Ленинградском вокзале подходит к Володе писатель Юлиан Семенов, уговаривает ехать к нему на день рождения, в Пахру. Володя вежливо отклоняет приглашение, ссылаясь на недосуг. Мы были в тот момент совершенно свободны и, кстати, очень хотели есть,—как раз, выйдя из вагона, обсуждали, куда пойти. Почему он отклонил приглашение? Точно не могу ответить, но, кажется, что-то в форме этого пригла-

шения показалось Высоцкому некорректным. Он был очень чуток к нюансам в интонациях.

186

Еще, совсем другой случай. Высоцкий опаздывал в театр, а к машине подбежали два солдата, попросили автограф. Он отказал, и машина рванулась. И тут мы поссорились, за минуту высказали друг другу уйму неприятных слов. Володя резко тормозит, выскакивает из машины, бежит искать солдат и, конечно же, не находит: «Как сквозь землю провалились!» Расстались молча, а среди ночи — звонок в дверь моей квартиры. Открываю — Володя. «Ну, чего дуешься? — улыбается он. — Я сегодня уже сорок автографов дал...»

В Пятигорске познакомил я его со старой армянкой, тетей Надей. Всю жизнь она тяжело работала, редко отдыхала. В свои семьдесят лет еще и взрослым детям помогала. Однажды говорит: «Смотрела кино, „Индюшкина голова“»... (По-русски говорила плохо.) Оказалось «Иудушка Головлева». Старушка сидела возле дома, и мы с Володей присели рядом. Я говорю:

— Вот и тетя Надя, которая смотрела кино «Индюшкина голова». А это Высоцкий. Знаешь его песни? Нравятся?

— Знаешь. Нравятся. Со всех окон поют. Наверное, хороший. Только хрипит очень.

Володя засмеялся. На следующий день, уже под Нальчиком, внезапно спрашивает:

— А ты заметил, какие у нее руки?

— У кого? — не понял я.

— У тети Нади. Прекрасные добрые глаза и такие натруженные руки...

Вообще к старикам он относился трогательно. Любил их слушать и просто на них смотреть.

Психолог, возможно, скажет: «Предчувствовал, что самому быть стариком не доведется». Не берусь судить. Но кстати сказать, знаю, что «Старика» Ю. Трифонова он считал лучшим его произведением.

На Кавказе Володя останавливал машину и подолгу смотрел то на старушку с коровой, то на седовласого горца. В Сибири, опаздывая на самолет, все-таки выскочил из машины, чтобы пожать руку знакомому фронтовику-бульдозеристу, попрощаться с ним. Он потом вспомнил этого фронтовика на одном из своих концертов в Москве. Он любил их, меченных войной простых людей. Вот вам и ответ на вопрос, кто был его кумиром.

Люди понимающие относят военный цикл песен Высоцкого к вершинам его поэтического творчества. Он так умел передать военные реалии, что дядя поэт, Алексей Владимирович Высоцкий, бывший командир дивизионной разведки, был уверен: «Тот, который не стрелял» есть слепок его военной судьбы. Как же был он озадачен и, должно быть, огорчен, узнав, что племянник все придумал. «Удивительно,— говорил другой полковник в отставке,— это ведь все обо мне».

Должен признаться: умение Высоцкого проникать в чужие судьбы, как бы переживать их заново, так и осталось для меня загадкой. В свою творческую лабораторию он никого не приглашал. «Не знаю, Вадим. Само приходит». Или еще: «Мысль, как назойливая муха, жужжит, жужжит, иногда несколько дней... Потом я ее записываю». Писал не только ночью и не обязательно за столом.

В известном интервью Высоцкий говорит: «Каждая песня выкручивает меня».

— И эта тоже? — спросили его после первого исполнения песни «Про речку Вачу».

— Она была не самой легкой.

Такая простенькая история незадачливого старателя, у которого ни кола, ни двора, в кармане последний «рупь на телеграмму». Но я видел, как ее слушают те, кто прошел Колыму, Приморье, Якутию, Бодайбо. Слушают с веселым напряжением: в ней — частица их жизни, негизетное прошлое. Оно было, чего его стесняться?

Про эту самую речку Вачу Володя написал на Хомолхо. Есть такой заброшенный поселок в Бодайбинской тайге. Там четыре часа он пел для тех, кто приехал из далеких таежных углов. Подходили все новые люди. В Бодайбо пилоты отложили рейсы, чтобы иметь возможность его послушать. Отложили пассажирские рейсы! Можно представить дисциплинарные для них последствия. В столовой не хватило места. Пришлось выставить оконные рамы, чтобы все, кто пришел, могли услышать. И Высоцкий терпеливо ждал, пока шли все приготовления.

— Эти люди нужны мне больше, чем я им.

В этой поездке ему нечаянно раздавили гитару. Он даже бровью не повел.

— Какой вопрос Вы хотели бы задать самому себе? — спросили его на пятигорском телевидении.

— Сколько мне еще осталось лет, месяцев, недель, дней, часов творчества?

25 июля 1980 года без двадцати четыре утра в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонил врач: «Володя умер».

Это было при нас, это с нами... и так далее.

Еще сравнительно негромкая, окуджавоголовая Москва. Еще не так давно обновленная Таганка, куда ходят не на актеров, а если на актеров, то на Губенко, блестящего выпускника ВГИКа, сыгравшего на выпуске Артуро Уи. Еще магнитофоны не с кассетами, а с бобинами — старая громоздкая «Яуза», а у отдельных счастливых сумасшедшая роскошь — «УНЕР».

И вот с чужим, со страхом и упованием доверенным «УНЕР»ом отправляюсь на Котельники, к Андрею Вознесенскому и Зое, где будет петь объявившийся и, говорят, неканонический «бард», молодой артист Таганки Высоцкий.

У каждого свое воспоминание о первом столкновении с феноменом Высоцкого. Для меня это ощущение неожиданной, накатившейся почти физически силы звука. Трудно было представить, что этот парнишка, сложения почти тщедушного, с лицом обыкновенным и ширпотребной гитарой, начав непритязательно с чужого «Течет речечка, да по песочечку...», сможет голосом приподнять нас со стульев, а потом приплюсовать к ним, а магнитофон, непредусмотрительно настроенный на средний регистр, сразу и безнадежно зашкалит.

Это было начало, и в юношеском его голосе еще не было бешеной, задыхающейся хрипоты последнего дыханья. Зато из удали звука, из затейливой блатной экзотики вылуплялась на-

исовременнейшая, грубая и изнаночная, но чистейшая лирика «Нинки» и будоражила неожиданная громкость исповеди.

Блатарь был всего-навсего первым из множества его внесценических образов, но мы еще не знали этого, а артистизм создателя был такой высокой пробы, что образ готовы были посчитать за автопортрет. Это сразу создало вокруг Высоцкого то электрическое облако популярности и опаски, которое искрило и давало разряды до самой его смерти.

Много «табу» было нарушено за нашу жизнь, и много порогов переступлено — привычный звуковой барьер, может и не самый существенный, но ощутимый. Но и не такая простая, наверное, вещь эта громкость: демаркационная линия, которая в самом бесконфликтном случае отделяет отцов от детей, на этот раз прошла через акустику, а прозрачные стены из ритмов и децибелл иной раз оказывались прочнее каменных.

Мир после Высоцкого не оскудел громкостями, и не только на стыке поколений, путем ВИА и дискотек. Искусство не зря, наверное, заприходовало их, и какая-нибудь «Родня» Михалкова, скрежещущая диссонансами, или рок-опера «Юнона и Авось» Вознесенского — Рыбникова — Захарова, которая напором звука почти что сносит неосторожных посетителей первых рядов, — не просто дань моде. Тут есть над чем поломать голову.

Но до всего этого Высоцкий создал свой личный акустический взрыв, без синтезаторов и усилителей, с помощью одной пары легких и голосовых связок, с одной — не электрической —

гитарой. Магнитофоны и микрофоны явились потом.

Теперь, посмертно, нередко ощущается тенденция к пьедестальности восприятия Высоцкого: поэт, автор своих песен, положенных на бумагу. Это пьедестальнее, но и стерильнее: к нам обращенное слово Высоцкого рождалось не пишущей рукой, а хрипящей гортанью, и звук, сила его,—не вторичный признак, а суть. Так же, как его широко распетые не гласные, а согласные; и не только звонкое, раскатное «р-р», но и совершенно глухое, тупое, но от этого не менее агрессивное «т-т»:

Идет-т охот-та на волков,
Идет-т охот-та...

Именно в кустарности—хорошо бы сказать в рукотворности, да глупо,—в неоснащенности его громкости техникой, через ее живую физиологию приоткрывается, быть может, и смысл. Ведь добывалась она не только из связок, но и из личности. Она была антиподом пониженного голоса, тихости, молчания. Он один кричал от всех и за всех на пределе возможностей органа, как говорили встарь.

Позади, в теплых компаниях, оставались блатные фиоритуры, которые у него уже не было охоты повторять. Хорошо помню день—именно день, дневной просмотр,—когда, распятый на голых железных конструкциях стихоспектакля Вознесенского «Берегите ваши лица», он швырнул в зал свою «Охоту на волков», и она летела на нас, как чугунное ядро и шаровая молния,—и спектакль закрыли, раз и навсегда.

И не зря же в «Земле людей», сочиненной Высоцким, можно найти чуть ли не все профес-

сии, хобби и состояния—спортсменов и рекордсменов, самолетных пассажиров, автомобилистов, физиков и лириков, мужской и женский пол; можно услышать город, пригород и деревню и старые погудки на новый лад. И хотя природа не отпустила ему могучей грудной клетки и выдающегося органа, он озвучил всех нас. И во всех—ломаая социальные барьеры—нашел отклик. Кричал и докричался.

И было бы неблагоприятно теперь центрифугировать в нем высокое (поэзия, Гамлет) от прочего «высоцкого». Он—законный наследник фольклора подворотни, уличного романса, безымянной блатной лирики. Здесь он нашел дикорастущий жанр городской баллады, пригодный для многого, возделал его терпеливо и получил плод—неповторимый интонационный строй. Отсюда же заимствовал он и первое в цепи перевоплощений—хулигана (старая бродильная закваска российской поэзии). В этом традиционном образе он впервые нарушил вместо Уголовного кодекса общественную тишину и моральное благообразие, продираясь голосом сквозь тупость и твердость согласных, как сквозь кляп во рту.

Об этом бунтующем начале надобно не забывать и тогда, когда, обдираясь о собственное неблагозвучие, он выбился в Гамлеты.

Странная, право, мысль или просто нахальная: Высоцкий—Гамлет!

Память выносит наружу «воспоминаний пестрый сор», и все больше житейский, неотобранный. То какой-то скандал по поводу неурочной отлучки в кабинете главного, исписанном по стенам знаменитыми автографами. А то почему-

то Болгарию: на фабрике покупаем дублински, Высоцкий откладывает: эта Севе, эта Севиной жене, эта Саше...— все какая-то бытовщина, хотя кто еще другой в наше время станет так бесшабашно тратить гонорар и личное обаяние на дружеские дублински? Но об этом пусть напишут другие.

Вспоминаю, что положено критику, — предпоследние репетиции «Гамлета» — неистовый темперамент режиссера, требующего представить ему изящного юного Моцарта, и актера на сцене, осторожно пробующего роль голосом на коротком поводке. — не Высоцкий, а облако в штанах, — и требование к присутствующим: немедленно откликнуться из зала экспресс-критикой, нв потом, а сейчас, не на бумаге, а изустно, в глаза актерам и без обиняков (где же теперь такое случается?). И после короткого обсуждения, уже почти дойдя на цыпочках голоса до финала, — ну да, он принц, но ведь ему же скоро убивать?! — Высоцкий едруг срывается над могилой Офелии с безукоризненной нвжности в бешеный хрип, и в эту секунду, приземляясь с теноровых высот, почти разбиваясь о неподатливость роли, становится Гамлетом...

Сразу после прогона сталкиваемся в проходе кресел, он в белой рубашке, какой-то колеблющийся, пустой, почти нематериальный.

— Володя, вот сцена над могилой...

— Да, знаю, нервы, все время верхнее «ля» тянешь...

— Да нет, как раз наоборот, это как раз и нужно — край, срыв, бездна...

Вижу, как на глазах он начинает материализоваться уже в предстартовой позиции, глаз становится цепким, голос весело-злым:

— Ах так?! Вот это надо срочно до Ю. П. довести, а то с этим принцем чертовым — принцы, они что, не мужики?..

И я, собравшись с духом, плетусь в знакомый кабинет, сотрясаемый послерепетиционными выбросами режиссерских эмоций...

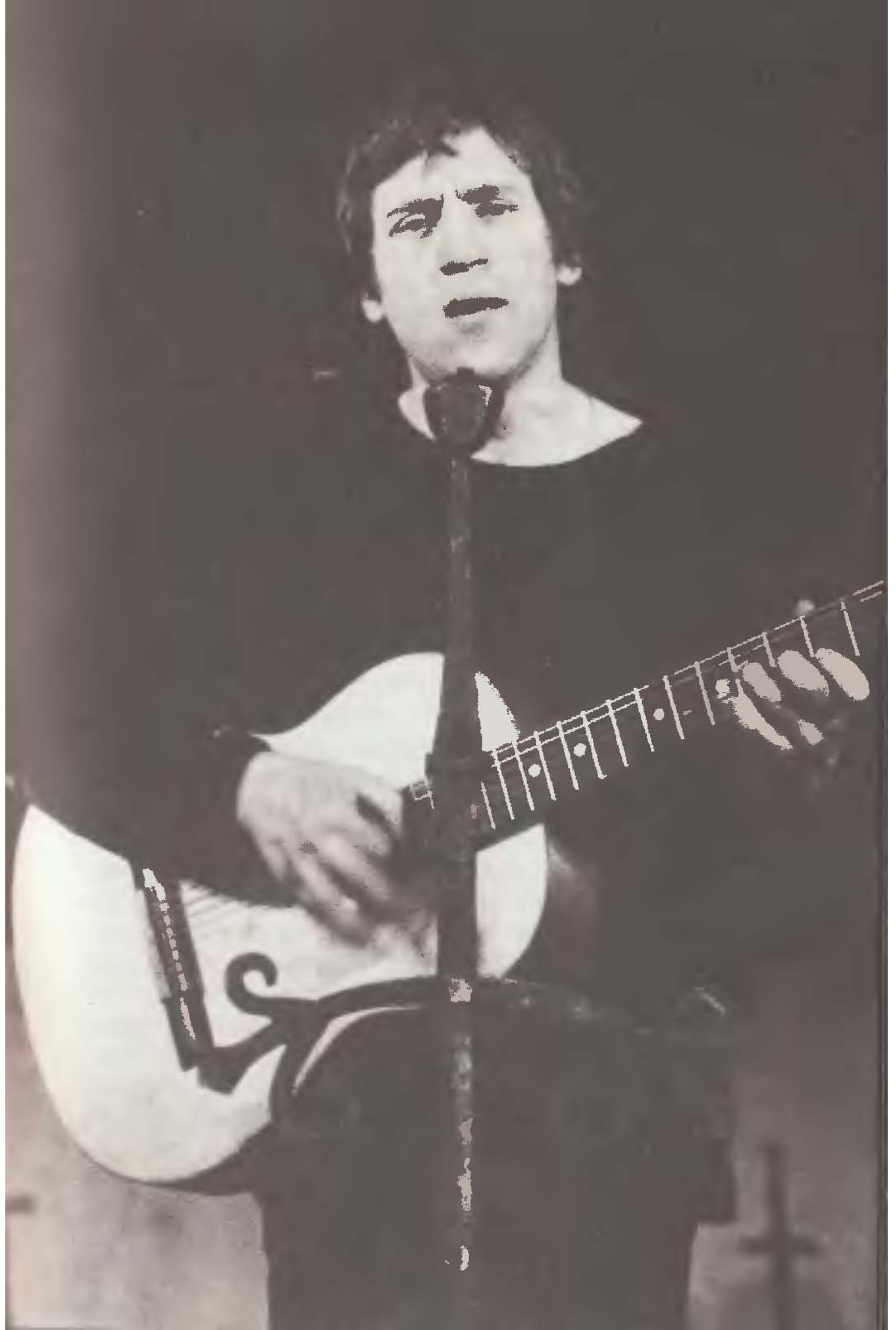
Гамлет — роль, ставшая жизнью, или жизнь, ставшая ролью. Шекспир и действительность, во всяком случае, сопоставимы в его судьбе. Помимо целой россыпи баллад, в совокупности составивших нечто вроде малой энциклопедии нашей жизни, она сделала его поэтом личной темы, собственной открывшейся «двуликости».

Схватка не только с внешним — с внутренним миром, с собой. Успех еще и как искушение, дешевая распродажа популярности, опасная бездна возможностей — беды, подстерегающие услышанного. Былая поза изгойства уже почти как спасение, и та спасительная неуголенность, тяга куда-то — быть может, даже в сторону смерти — все это как будто бы открыло поэтический и звуковой клапан.

Наверное, не случайно, что он сумел-таки прорваться сквозь строй согласных к гласным, к полногласию:

Я коней напою-у-у,
я куплет допою-у-у,
Хоть мгновенье еще постою-у-у
на краю-у-у...

И громкость, завоеванная врукопашную, стала достоянием звукозаписи и посмертной славы.



Пароль

Плохо помню, как Высоцкий играл Галилея. В начале спектакля он залезал на стол и там делал стойку на руках. В финале он замечательно читал монолог. Теперь появились видеокассеты, можно вновь этот монолог услышать и увидеть. Чтение это особое, оно — не актерское. Это не то, что актер, играющий Галилея, читает на концерте монолог из роли. Кроме Высоцкого так никто не читал и не читает. Прозаический текст звучит как стихотворный. Смысл доносится с очень большой ясностью, хотя Высоцкий никак и ничего не педалирует. Немного странное, монотонное поэтическое чтение. Он вроде бы бубнит, но перед нами такой тип человека, что нельзя не вслушаться. У Высоцкого не актерская сущность, а авторская. Он произносит как бы совершенно свой монолог. Один замечательный поэт передает глубокий смысл и красоту строк другого замечательного поэта.

В спектакле «Пристегните ремни» у него был всего один проход через сцену и зал. Этот проход — ошеломлял. Охватывал страх. Это был какой-то мощный налет. Такое впечатление было, что все вжимались в кресла. Длилось это три-четыре минуты, затем раздавалась овация. Действие надолго останавливалось. Все, что было до этого, и все, что было после, ни в какое сравнение не шло с этим проходом. Высоцкий пел песню о том, как солдаты ползут вперед,

вращая локтями земной шар. И была какая-то особая правда в том, что на его плечах плащ-палатка и ее изнутри распирают в сторону локти рук, держащих гитару.

Люди, хорошо знающие Высоцкого, утверждают, что Гамлета он играл неровно. Иногда бегло, технично. Я, к сожалению, попадал именно на такие спектакли. Высоцкий был на сцене, но — отсутствовал. Казалось, он думал о чем-то другом. Сегодня, опять-таки благодаря видеокассете, я снова услышал монолог Гамлета в его исполнении. Высоцкий демонстрировал, как можно «Быть или не быть...» читать с двумя разными задачами. Он говорил несколько вступительных слов, а потом без всякой паузы начинал монолог, поражая именно этой легкостью перехода от собственных слов к Шекспиру и еще тем, что он не «играл», а великолепно демонстрировал, показывал. Ничего не разыгрывал, а передавал ритмически-смысловую основу. Опять-таки он делал это так, будто читал собственные стихи. Он был единственным в своем роде. В нем не было ничего актерского, никакой позы. Это был крепкий, сильный, мощный молодой мужчина, умеющий как-то ясно, прямо, без дураков передавать то, что ему было необходимо.

Я видел его не во всех ролях. Но когда он появлялся на сцене или на экране, я ловил себя на том, что смотрю безотрывно, как будто появлялась потребность нечто нешаблонное и редкое изучить. Похожие чувства я испытывал еще тогда, когда видел игру Олега Даля.

Несколько раз я смотрел фильм «Служили два товарища», где Высоцкий играл белогвардейца. Тот во время бегства прощался со своим конем. Искаженное болью лицо Высоцкого трудно забыть. В его игре (хотя это как-то трудно назвать игрой) и в его песнях звучали трагические ноты такой силы, что в современном искусстве я могу сравнить это только с музыкой Шостаковича. Дрожь пробирает.

В спектакле «Вишневый сад» на Таганке роль Лопухина должны были играть двое — Шаповалов и Высоцкий. Шаповалов репетировал очень хорошо, а Высоцкий отсутствовал — он был в Париже у Марины Влади. Однажды после репетиции, делая замечания актерам, я заметил, что посылаю все свои замечания человеку, который сидит в темном углу. Мне казалось, что тот человек слушает как-то особенно. Я не понимал, что это Высоцкий, что он уже вернулся. Потом, когда зажегся свет, я его узнал. Он слушал так жадно потому, что хотел догнать. Он хотел сразу схватить все, что пропустил. Он так бурно взялся за дело, что очень скоро всех перегнал. Особенно сильно он репетировал третий акт, когда Лопухин сообщает, что купил вишневый сад. Никакого счастья от этого приобретения не было. Скорее, вынужденность, горечь, даже горе. От горя он переходил в ярость. В ярости бешено плясал, ломал что-то, его еле уводили. Высоцкий репетировал с таким трагическим накалом, на который в современном театре способен был только он. После одной из репетиций, когда я пришел домой, дверь мне открыл

мой сын с глазами, полными ужаса. Я испугался, но сын сказал мне, что он только что с репетиции, во время которой видел Высоцкого.

На спектакле к моменту монолога Лопухина за кулисами собирались многие, чтобы посмотреть и послушать. Много лет спустя я ставил «Вишневый сад» в Японии. После одной неудачной репетиции решил освежить память и послушать старую московскую запись. В тот день, когда делали эту запись, артисты играли плохо. Слушая, я расстроился. Спектакль с момента премьеры, видимо, менялся к худшему. Но вот дошло в третьем акте до выхода Лопухина. И я услышал, что только Высоцкий играет как всегда — так сильно, так мощно! После окончания монолога опять были долгие аплодисменты.

На одной из репетиций «Вишневого сада» в той же самой Японии я спросил артистов, не хотят ли они послушать песни Высоцкого. У меня с собой были кассеты. Вначале я рассказывал смысл песен, а потом японцы слушали песни. Надо было видеть их лица.

Еще я ставил «Вишневый сад» в Финляндии. Для того чтобы как-то растормозить актера, играющего Лопухина, я дал ему послушать Высоцкого. Слушая, он безнадежно махнул рукой: «Где уж мне...»

После премьеры «Вишневого сада» в Театре на Таганке, как это полагается, был устроен банкет. Взаимоотношения в театре складывались нелегко. На банкет пришли не все. Высоцкий пришел с гитарой, сел рядом со мной и, чтобы я не унывал, стал петь для меня. Я слушал, как он поет, и видел совсем близко, как раздуваются жилы на его шее. Как меха.

На спектакль он иногда приходил непозволительно поздно. Уже семь часов, публика сидит в зале, помощник режиссера сходит с ума, а Высоцкого нет. В какую-то самую последнюю секунду он на своем иностранном автомобиле подъезжал к театру и, в расстегнутой короткой дубленке, медленно входил в коридор дирекции. К нему бросались — мол, уже начало! — а он спокойно продолжал с кем-то о чем-то договариваться. Мне все это казалось странным, я даже сердился. Подходил к нему, готовый сказать что-то сердитое, а он поворачивался и, очень нежно улыбаясь, говорил: «Анатолий Васильевич. Все будет в порядке...» И я немел. В нем была сила внутренняя такая, перед которой буквально можно онеметь. Даже когда вроде бы сознаешь свою правоту.

Он ко всем относился как старший к младшим, вернее — к маленьким. В этом не было высокомерия, снисходительности, самомнения. Это было какое-то особое осознание собственной силы, несоразмерной силам других. Он был как бомба, которая вертится и не взрывается. Даже Любимов был с ним осторожен — при всей своей вспыльчивости, он не позволял себе неосторожного слова в адрес Высоцкого. Я, во всяком случае, слышал от него многое, а подобного — не слышал. Иногда, за глаза, он мог сказать что-нибудь вроде: «Менестрель!..» — полушутя-полусердито. Но в присутствии Высоцкого, насколько помню, был очень осторожен.

В театре сердились на эту, так сказать, сверхсамостоятельность одного актера. Актерский коллектив — тем более на Таганке — это аесьма своеобразное понимание цехового брат-

ства. В этом понимании было и что-то высокое, а что-то и низкое. Как и вообще в актерской зависимости—в ней странная смесь достойного и недостойного. Мне кажется, Высоцкий вообще от актерского цеха постепенно отдалялся. И его самостоятельность, нарушающая привычные для театра нормы, мало кем была осознана как необходимая этому человеку творческая свобода. Очень трудно быть свободным, когда связан давними и ежедневными отношениями, устоявшимися с поры общей молодости. Высоцкий, по моему, повзрослел раньше всех других на Таганке. В отличие от многих он имел свое собственное мировоззрение. Это прежде всего и определяло его внутреннюю силу, отдельность и самостоятельность поступков. Этим мы, со стороны, и любовались, хотя иногда и не понимали, чем именно любимемся,—просто попадали под обаяние человека.

Естественно,—его побаивались. Он был закрытый. Хотя иногда вдруг необычайно открыто, по-детски начинал что-то рассказывать. После того как побывал в Нью-Йорке и выступал там, он азартно рассказывал в перерыве репетиции о том, как проходили его концерты. Он вовсе не хвастался, но рассказывал, как мальчик. Я не был его близким другом, для меня он всегда оставался человеком таинственным.

Вот ведь странно—многолетний режиссерский опыт убеждает, что всех актеров, с которыми имеешь дело, ты, режиссер, знаешь. И на этом знании актерской психологии и человеческих характеров возникает необходимый для работы контакт. Высоцкий, повторяю, оставался для

меня человеком таинственным, но такого мгновенного контакта, пожалуй, у меня не было ни с кем в работе. Никаких лишних вопросов, никаких пояснений и объяснений, никаких комплексов — только обостренный слух к существу роли, к существу спектакля и абсолютная, полная отдача этому существу. А отдавать он умел, как никто, — щедро, неожиданно, ошеломляя мощной силой собственного наполнения того, что в нашем деле называется «рисунком роли». Суть, зерно он схватывал мгновенно, «контур» образа дорисовывал, будто вырвав из моих рук карандаш, безошибочно. А дальше... дальше делал то, на что способен только актер огромной душевной содержательности — наполнял собой, своим чувством, своим пониманием жизни, своей наблюдательностью то, что есть роль, образ. И я, режиссер, отходил в сторону. Уже по каким-то неведомым мне, таинственным законам творилось его искусство, выявляя себя — его, Высоцкого, личность.

Он летал по Москве на своем автомобиле с быстротой молнии. Однажды у красного светофора его машина догнала мою. Он открыл окно и прохрипел, сделав смешное ударение: «Наперегónки!» И рванул так, что я его сразу потерял из виду. Как-то на нашей репетиции присутствовала критик Марианна Строева. После окончания ей надо было срочно попасть в свой институт. Она волновалась, так как, если заседал ее сектор, никого не пускали после начала. Я уже завел машину, когда вышел Высоцкий. Он бы довез куда быстрее. Он, конечно, согласился. Потом говорил, что за это время еще и песню сочинил.

О том, что ненавидит, когда перед ним закрывают двери.

Когда на радио записывали «Мартина Идена», блоковскую «Незнакомку» и пушкинские «Маленькие трагедии», мы с Ириной Карасевой, звукорежиссером, перед началом записи всегда стояли у окна и смотрели на улицу — не едет ли Высоцкий. Его очень трудно было застать дома, найти в театре или вообще где-либо. Посылали телеграммы, чтобы он в назначенный день пришел. Он приходил, только с большим опозданием. Репетировать с ним не надо было, он сразу схватывал поэтический смысл текста и с первой же пробы все делал замечательно — безошибочно и сильно.

Когда крутишь радиоприемник, наталкиваешься на десятки мужских голосов, читающих или поющих. Читающие голоса — жидкие, неопределенные, к себе не располагающие. Поющие — не поймешь теперь, мужские или женские. А слова!! Просто уму непостижимо, какие глупые слова! И вдруг случайно натолкнешься на Высоцкого...

Когда он умер, всюду звучали его песни, но тогда не по радио, а из тысяч разных магнитофонов. Перед репетицией на Малой Бронной тоже включили Высоцкого. Это было на первом этаже. Я подошел к окну и увидел группу мальчишек, присевших под окном на земле. Они тихо слушали.

Одно время мне пришлось ездить по многим учреждениям и домоуправлениям: предстоял обмен квартиры. То и дело мы нарывались на

грубость работников ЖЭКов. То ключей у них не было, то мы, по их мнению, поздно приехали. Однажды я уже приготовился принять очередную порцию грубости и ответить на нее, но над канцелярским столом увидел портрет Высоцкого. Мне стало легко, я подошел к этому столу с уверенностью, что за ним сидит хороший человек.

В Театре на Таганке мне сказали, что в литчасти лежит пьеса Марка Розовского о Высоцком. Я сразу же стал ее читать. Подзаголовок — сатирическая комедия. Сатирическая комедия о Высоцком? А заглавие у пьесы такое: «Концерт Высоцкого в НИИ». Трудно было вообразить, о чем это. Дело заключалось в том, что культработник пригласил Высоцкого в один научно-исследовательский институт. О его концерте вывесили объявление в половинку тетрадной странички. Кто это сделал?! Кто разрешил?! Ну, и так далее. Со всех сторон в этот институт звонят. Одни говорят — можно, другие говорят — нельзя. Руководитель института совершенно потерял голову. Уже ни один важный для института вопрос не решается. Все занимаются только концертом. Допустить его или нет. Решили не допускать. Но в это время где-то там, вне всяких служебных кабинетов, Высоцкий уже вышел на сцену и запел. И его голос прорвался сквозь всю мышиную возню и заглушил ее.

Театр на Таганке был на гастролях в одном из волжских городов. Вечером нас позвали на берег на дебаркадер, место работы спасателей. Водолазы наловили для нас раков. Но все это не за

наши театральные заслуги, а потому что среди нас были люди, знавшие Высоцкого. Это имя иногда звучит как пароль. В один из дней я пошел в небольшой подвальчик, где был организован крошечный музей Высоцкого. У меня горло перехватило от волнения, когда я увидел на стенах комнатки неизвестные мне ранние его фотографии и афиши его выступлений тут, в этом городе. Люди, встречавшиеся с ним, на долгие годы верны его памяти.

У Высоцкого есть песня «Дом». Это одна из лучших его песен. Долгое время ее не включали в список тех, которые разрешалось где-либо использовать,* потому что никак не могли решить, что же это за дом такой. Когда я подумал, что эту песню можно использовать в спектакле «На дне», вся горьковская пьеса для меня осветилась по-новому. Я почувствовал связь этой пьесы с вопросами сегодняшнего дня. Люди маются, живут скученно, но и трагически разобщенно, они утратили представление о нормальной жизни, о любви, о труде, они не замечают, когда кто-то умирает или кого-то убивают. Они тоскуют то ли по прошлому, то ли по будущему, а в настоящем жить не умеют. Про прошлое выдумывают то, чего не было, а про будущее ничего толком не знают. Они не разумны в своих действиях, но чего-то еще хотят, на что-то надеются. На этом «дне» кипит своя энергия жизни, достаточно опасная. И понять все это можно, лишь взглянув на этот дом как бы со стороны, что и сделал Высоцкий. И сыграть все это, подумал я, могут именно актеры Таганки, потому что тоже, по-своему, потеряны и, может быть, острее других

пережили эту потерянность. Не важно, что у входа в театр их ждут личные автомобили, и не важно, что Высоцкий держал в руках руль «Мерседеса». Он взглянул на знакомый дом со стороны, и это была его непроходящая боль. Пусть будут у него в песне кони, пусть будет эта ночлежка, на самом деле она ведь в душах людей, а не на поверхности быта. Быта не нужно в спектакле, а нужна горькая поэзия. И — надежда на единение. Нужна выраженная голосом Высоцкого страстная тоска по лучшей жизни.

Каждый раз вхожу в зал и, волнуясь, жду, когда запоет Высоцкий:

Кто ответит мне, что за дом такой?
Почему во тьме, как барак чумной?
Свет лампад погас, воздух вылился.
Али жить у вас разучились?

Двери настежь у вас, а душа взаперти!

Кто хозяином здесь — напоил бы вином?!

А в ответ мне: — Видать, был ты долго в пути

И людей позабыл — мы всегда так живем.

Траву кушаем, век на щавеле,
Скисли душами — опрыщавели,
Да еще вином много тешились.
Разоряли дом — дрались, вешались...

АЯ, ВАМПИЛЯ, ОТЧЕСТВО.

ПРОФЕССИЯ.

ПОТО ПРОСТО-ТАКИ НЕОБХОДИМО!

...любимые творческие писателя.

...карты.

...актеры.

...актрисы.

...театр, балетная, оперный.

...фильм, кинокомедия, мюзикл.

...скульптор, скульптура.

...художник, картина.

...композитор, муз. произведения, писля.

...страна и которой ты относишься с симпатией.

...двое мужчины.

/показываете ладь/

...двое женщины.

...любовь, которого ты не любишь.

...самый дорогой для тебя человек.

...самая замечательная историческая личность.

...историческая личность, которую ты боишься.

...самый выдающийся человек современности.

...каким еще кто твой друг.

...в что ты его любишь?

...то такое, по-твоему, друзья?

...черты, характерные для твоего друга/подруги/

...важные черты характера человека.

...характерные черты личности человека.

...важные отличительные черты.

...кого тебе не достает?

...каким человеком ты считаешь себя?

...в что ты любишь читать?

...какие книги, журналы, газеты, газеты.

...когда бы довелось в жизни?

...ты подарил бы любимому человеку, а бы был способен?

...событие стало бы для тебя радостным?

...какие трудности?

...ты позволил бы раз в жизни?

...ты позволил бы раз в жизни?

...ты сформировал бы характер?

...ты для тебя характерное?

...ты сделал в первую очередь бы стал главой Советского правительства?

...ты сделал в первую очередь бы стал вступил в Политбюро?

...ты величайшее.

...ты место в большом городе?

...ты футбольная команда.

...ты место.

...ты оставил??

...ты?

...ты бы ты был великим в жизни?

...ты живешь в телефоне.

...твоего родителя.

...ты считаешь себя в жизни?



ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ВЫСОЦКИЙ - АКТЕР



- 1 Бучачко
- 2 Б. Акимова НА ТАГАНКЕ
- 3 М. Саушкин 50/2
- 4 Славина
- 5 Мень на Тогате „Зубов“ Любимов
- 6 Бити бопови и зорога Ташкин
- 7 „Маслитев“ Догзи
- 8 Куанджи „Пуритан“
- 9 Чарин „В этот“ Памя: „Ветхий ситно отроков“
- 10 Россия „Лолоча, с/рохиция“
- 11 Найлон Бринго
- 12 Сиджет
- 13 Их мало, но все-таки сейчас значительный
- 14 Сейчас — ~~мало~~ не много.
- 15 Леша Забудилова.
- 16 Татар и нем. сими. Мало.
- 17 не знаю таких.
- 18 Забудилова
- 19 Если знать эти ~~два~~ ^{два} ~~языка~~ ^{языка} ~~то~~ ^{то} ~~там~~ ^{там} ~~ни~~ ^{ни} ~~любви~~ ^{любви}, это
- 20 Когда можно найти любовь без ~~данных~~ ^{данных} ~~своих~~ ^{своих} ~~обрат-~~ ^{обрат-}
- 21 Терпимости, мудрости, ~~материальности~~ ^{материальности}.
- 22 — — — — —
- 23 Особенность, ~~отраза~~ ^{отраза} (но ~~тако~~ ^{тако} ~~по~~ ^{по} ~~здрав~~ ^{здрав} ~~усли~~ ^{усли})
- 24 Завоев, ~~и~~ ^и ~~рост~~ ^{рост} ~~здесь~~ ^{здесь}.
- 25 Работушка 9/1/348
- 26 Время
- 27 равном
- 28 Когда?

Бити бопови, ~~тоже~~ ^{тоже} ~~за~~ ^{за} ~~дана~~ ^{дана} ~~вы~~ ^{вы} ~~испытан~~ ^{испытан} ~~бодис~~ ^{бодис}, ~~как~~ ^{как}

Зробив величезну, згодом втрачену

своєю рукою

Прем'єра Гамлета

Почему жалею.

Простому театролюбцю

всі

«Разберімся»
в. в. в. в. в.

разберімся

в. в. в. в. в.

Хороша була бачення

стихи, запам'ятовувати

Самостійно. Мова

мій

о луні сі мови

Гимнастичні - гості

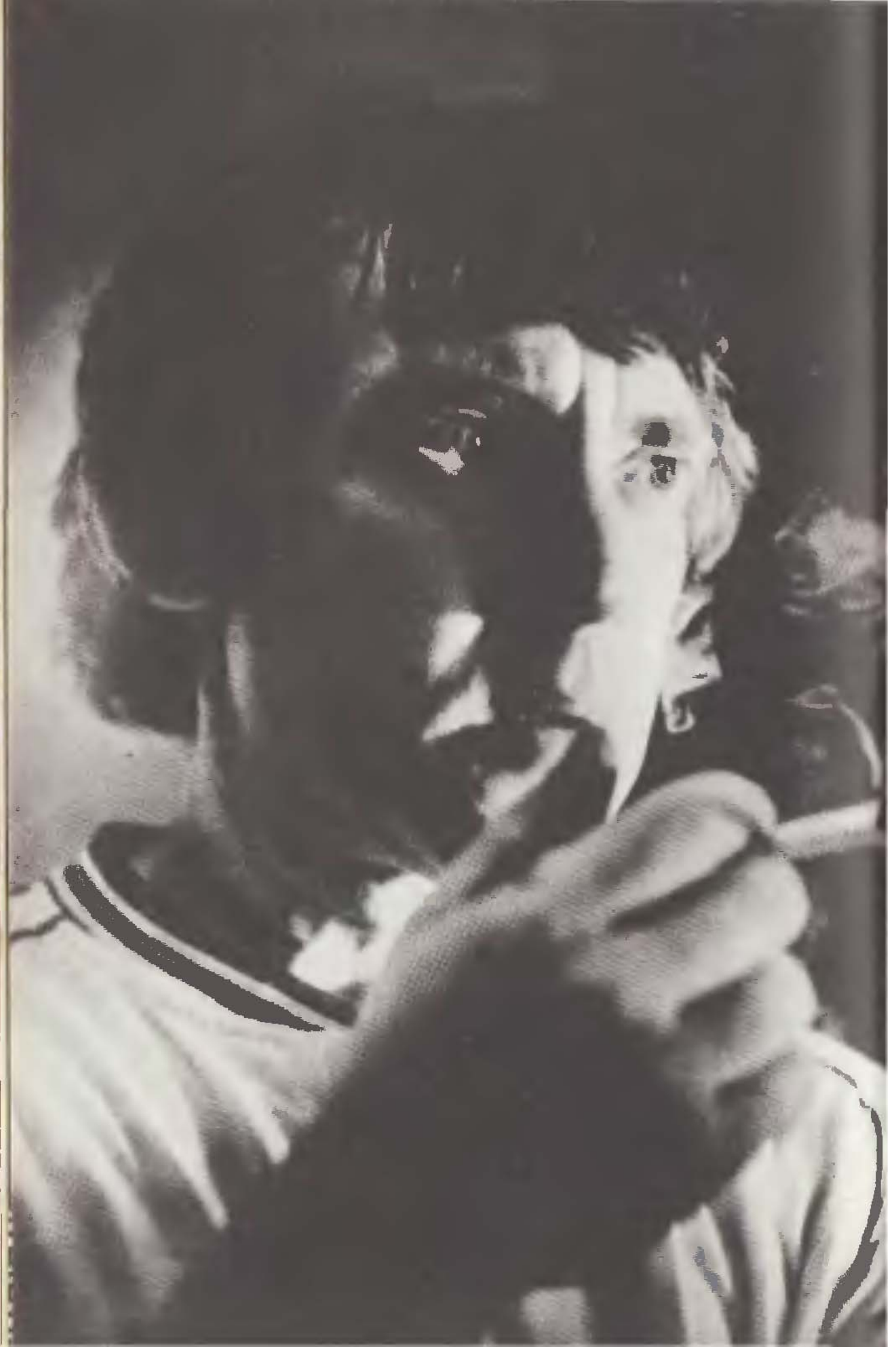
Просто так

Хочу і буду. «Хочу» - це, що -
єсть

25 квіт. 1938

28 II - 302

Василь



В.ВЫСОЦКИЙ Стихи и песни

- Где твои семнадцать лет?
- На Большом Каретном.
- Где твои семнадцать бед?
- На Большом Каретном.
- Где твой чёрный пистолет?
- На Большом Каретном.
- Где тебя сегодня нет?
- На Большом Каретном.

— Помнишь ли, товарищ, этот дом?

Нет, не забываешь ты о нём!

Я скажу, что тот полжизни потерял,

Кто в Большом Каретном не бывал.

Ещё бы...

- Где твои семнадцать лет?
- На Большом Каретном.
- Где твои семнадцать бед?
- На Большом Каретном.
- Где твой чёрный пистолет?
- На Большом Каретном.
- Где тебя сегодня нет?
- На Большом Каретном.

Переименован он теперь,

Стало всё по-новой там, верь не верь!

И всё же, где б ты ни был, где ты ни бредёшь —

Нет-нет, да по Каретному пройдёшь.

Ещё бы...

- Где твои семнадцать лет?
- На Большом Каретном.
- Где твои семнадцать бед?
- На Большом Каретном.

- Где твой чёрный пистолет?
- На Большом Каретном.
- Где тебя сегодня нет?
- На Большом Каретном.

Публицистический периодический
ежедневный журнал «СМЕНИ»



КОРЕФ

АКТЕР МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ЭРА
И КОМЕДИИ НА ТАГАНКЕ ИСПОЛНИЛ
РОЛИ В КИНОФИЛЬМАХ «ВЕРИЖКА»
Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТАВА, ДИДИЯ И
ПРЕТНХ, АВТОР ПЕСЕН

Владимир

ВЪ- СОЦ- КИЙ

Содержание: Владимир Высоцкий и его песни. М. Советский Союз. 1968 г. 1-3-76 и 7-76

Сыт я по горло, до подбородка.
Даже от песен стал уставать.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать.

Друг подавал мне водку в стакане,
Друг говорил, что это пройдет.
Друг познакомил с Веркой по пьяни —
Верка поможет, а водка спасёт.

Не помогли ни Верка, ни водка.
С водки похмелье, а с Верки — что взять?
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не смогли запеленговать.

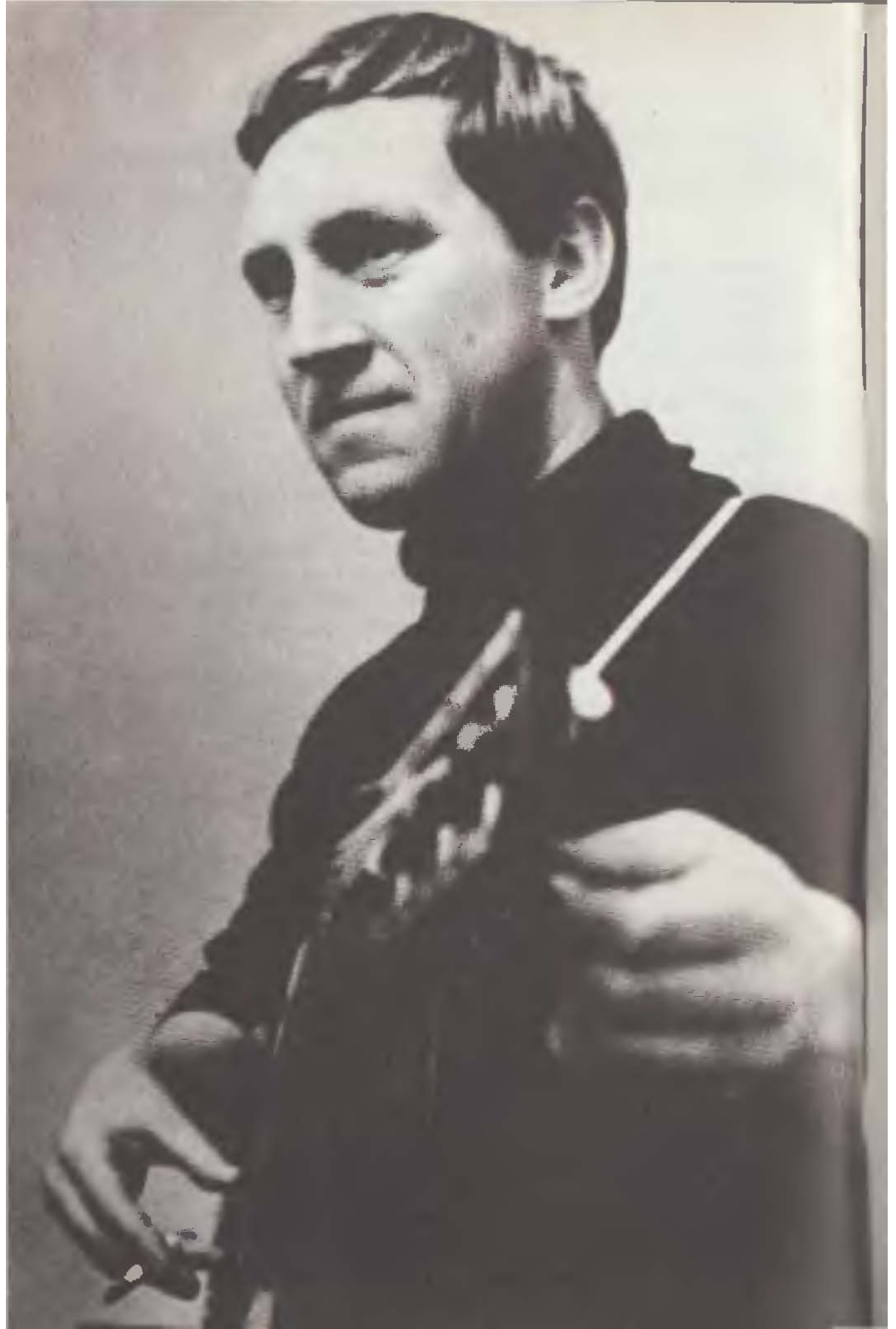
Сыт я по горло, сыт я по глотку.
Ох, надоело петь и играть!
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
И позывных не передавать.

За меня невеста отрыдает честно,
За меня ребята отдадут долги,
За меня другие отпоют все песни,
И, быть может, выпьют за меня враги.

Не дают мне больше интересных книжек,
И моя гитара — без струны,
И нельзя мне выше, и нельзя мне ниже,
И нельзя мне солнца, и нельзя луны.

Мне нельзя на волю — не имею права,
Можно лишь от двери — до стены,
Мне нельзя налево, мне нельзя направо,
Можно только неба кусок, можно сны.

Сны про то, как выйду, как замок мой снимут,
Как мою гитару отдадут.
Кто меня там встретит, как меня обнимут,
И какие песни мне споют?..



На границе с Турцией или с Пакистаном .
Полоса нейтральная. Справа, где кусты —
Наши пограничники с нашим капитаном,
А на левой стороне — ихние посты.

А на нейтральной полосе цветы —
Необычайной красоты!

Капитанова невеста жить решила вместе.
Прикатила, говорит: — Милый! То да сё...
Надо ж хоть букет цветов подарить невесте —
Что за свадьба без цветов? Пьянка, да и всё!

А на нейтральной полосе цветы —
Необычайной красоты!

К ихнему начальнику, точно по повестке,
Тоже баба прикатила — налетела блажь,
Тоже — милый, — говорит, только по-турецки, —
Будет свадьба, — говорит, — свадьба — и шабаш!

А на нейтральной полосе цветы —
Необычайной красоты!

Наши пограничники — храбрые ребята —
Тров вызвались идти, с ними — капитан.
Разве ж знать они могли про то, что азиаты
Порешили в ту же ночь вдарить по цветам?

Ведь на нейтральной полосе цветы —
Необычайной красоты!

Пьян от запаха цветов капитан мертвецки,
Ну, и ихний капитан тоже в доску пьян.

222 Повалился он в цветы, охнув по-турецки,
И, по-русски крикнув:— Мать...—

рухнул капитан.

А на нейтральной полосе цветы—
Необычайной красоты!

Спит капитан, и ему снится,
Что открыли границу, как ворота в Кремле.
Ему и на фиг не нужна была чужая граница—
Он пройтись хотел по ничейной земле.
Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья,
Ведь она—нейтральная!

А на нейтральной полосе цветы—
Необычайной красоты!

Нынче все срока закончены,
А у лагерных ворот,
Что крест-накрест заколочены,
Надпись: «Все ушли на фронт».

За грехи за наши нас простят,—
Ведь у нас такой народ:
Если Родина в опасности—
Значит, всем идти на фронт.

Там год—за три, если Бог хранит,—
Как и в лагере зачёт.
Нынче мы на равных с ВОХРаами,
Нынче всем идти на фронт.

У начальника Березкина—
Ох, и гонор, ох, и понт!
И душа—крест-накрест досками,
Но и он пошёл на фронт.

Лучше б было сразу в тыл его,
Только с нами был он смел.
Высшей мерой наградил его
Трибунал за самострел.

Ну, а мы—всё оправдали мы,
Наградили нас потом,
Кто живые—тех медалями,
А кто мёртвые—крестом.

И другие заключённые
Прочитают у ворот
Нашу память застеклённую—
Надпись: «Все ушли на фронт».

Штрафные батальоны

1964

Всего лишь час дают на артобстрел.
Всего лишь час пехоте передышки.
Всего лишь час до самых важных дел —
Кому до ордена, а кому до «вышки».

За этот час не пишем ни строки.
Молись богам войны — артиллеристам!
Ведь мы ж не просто так, мы — штрафники,
Нам не писать: «Считайте коммунистом».

Перед атакой — водку? Вот мура!
Свое отпили мы еще в гражданку.
Поэтому мы не кричим «ура»,
Со смертью мы играемся в молчанку.

У штрафников один закон, один конец —
Коли-руби фашистского бродягу!
И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь поймаешь за отвагу.

Ты бей штыком, а лучше бей рукой —
Оно надёжней, да оно и тише.
И ежели останешься живой,
Гуляй, рванина, от рубля и выше!

Считает враг — морально мы слабы.
За ним и лес, и города сожжены.
Вы лучше лес рубите на гробы —
В прорыв идут штрафные батальоны!

Вот шесть ноль-ноль, и вот сейчас — обстрел.
Ну, Бог войны! Давай без передышки!
Всего лишь час до самых главных дел —
Кому до ордена, а большинству до «вышки».

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО ПРОПАГАНДЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
ПРИ ПРАВЛЕНИИ ОРДЕНА ЛЕНИНА ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК **15** МАЯ

ВЛАДИМИР ВЬСОЦКИЙ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

РОЛЬ ПЕСЕННОЙ ПОЭЗИИ
В ТЕАТРЕ И КИНО

Начало в 20 часов

Братские могилы

1964-1965

221

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов
И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы,
Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных вдов, —
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?



В королевстве, где все тихо и складно,
Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь,
Появился дикий вепрь громадный —
То ли буйвол, то ли бык, то ли тур.

Сам король страдал желудком и астмой,
Только кашлем сильный страх наводил,
А тем временем зверюга ужасный
Коих ел, а коих в лес волочил.

И король тотчас издал три декрета:
«Зверя надо одолеть наконец!
Кто отважится на дело на это —
Тот принцессу поведет под венец!»

А в отчаявшемся том государстве —
Как войдешь, так сразу наискосок, —
В бесшабашной жил тоске и гусарстве
Бывший лучший королевский стрелок.

На полу лежали люди и шкуры,
Пели песни, пили мёды — и тут
Протрубили на дворе трубадуры,
Хвать стрелка! — и во дворец волокут.

И король ему прокашлял: — Не буду
Я читать тебе моралей, юнец!
Если завтра победишь Чуду-юду,
То принцессу поведешь под венец.

А стрелок: — Да это что за награда?
Мне бы выкатить портвейна бадью!
Мол, принцессу мне и даром не надо —
Чуду-юду я и так победю.

А король:— Возьмёшь принцессу— и точка!
А не то тебя— раз-два!— и в тюрьму!
Это все же королевская дочка!
А стрелок:— Ну, хоть убей— не возьму!

И пока король с ним так препирался,—
Съев уже почти всех женщин и кур,
Возле самого дворца ошивался
Этот самый то ли бык, то ли тур.

Делать нечего: портвейн он отспорил,
Чуду-юду победил и убёг.
Так принцессу с королем опозорил
Бывший лучший, но опальный стрелок.

А у дельфина взрезано брюхо винтом,
Выстрела в спину не ожидает никто.
На батарее нету снарядов уже,
Надо быстрее на вираже.

Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь, каюсь!

Даже в дозоре можешь не встретить врага.
Это не горе — если болит нога.
Петли дверные многим скрипят, многим поют,
Кто вы такие — вас здесь не ждут!

Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь, каюсь!

Многие лета всем, кто поет во сне,
Все части света могут лежать на дне.
Все континенты могут гореть в огне,
Только все это не по мне.

Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь, каюсь!

Корабли постоят и ложатся на курс,
Но они возвращаются сквозь непогоды.
Не пройдет и полгода, и я появлюсь,
Чтобы снова уйти на полгода.

Возвращаются все, кроме лучших друзей,
Кроме самых любимых и преданных женщин.
Возвращаются все, кроме тех, кто нужней.
Я не верю судьбе, а себе — еще меньше.

Но мне хочется верить, что это не так,
Что сжигать корабли скоро выйдет из моды.
Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах,
Я, конечно, спою — не пройдет и полгода.

ВЛАДИМИР ВИСОЦКИ · VLADIMIR VISOTSKY

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ
ПРЕДСТАВА

АВТОПОРТРЕТ · SELF-PO



СТАРТО
ДИ
БТА 10/85

Марине

Если я богат, как царь морской,
Крикни только мне: «Лови блесну!»
Мир подводный и надводный свой,
Не задумываясь, выплесну!

Дом хрустальный на горе для неё.
Сам, как пёс бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!

Если беден я, как пёс один,
И в дому моём шаром кати —
Ведь поможешь Ты мне, Господи,
Не позволишь жизнь скомкати.

Дом хрустальный на горе для неё.
Сам, как пёс бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!

Не сравнил бы я любую с тобой,
Хоть казни меня, расстреливай.
Посмотри, как я люблюсь тобой, —
Как Мадонной Рафаэлевой!

Дом хрустальный на горе для неё.
Сам, как пёс бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!

Небо этого дня
ясное,
Но теперь в нем броня
лязгает.
А по нашей земле
гул стоит,
И деревья в смоле,—
грустно им.
Дым и пепел встают,
как кресты.
Гнезд по крышам не вьют
аисты.

Колос—в цвет янтаря,
успеем ли?
Нет! Выходит, мы зря
сеяли.
Что ж там цветом в янтарь
светится?
Это в поле пожар
мечется.
Разбрелись все от бед
в стороны.
Певчих птиц больше нет—
вороны.

И деревья в пыли—
к осени.
Те, что песни могли,—
бросили.
И любовь не для нас.
Верно ведь,
Что нужнее сейчас—
ненависть?

Уходим под воду в нейтральной воде.
Мы можем по году плевать на погоду,
А если накроют — локаторы взвоят
О нашей беде.

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!
Спешите к нам!

Услышьте нас на суше —
Наш SOS все глуше, глуше.
И ужас режет души
Напополам...

И рвутся аорты, но наверх — не сметь!
Там, справа по борту, там, слева по борту,
Там, прямо по ходу мешает проходу
Рогатая смерть.

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!
Спешите к нам!

Услышьте нас на суше —
Наш SOS все глуше, глуше.
И ужас режет души
Напополам...

Но здесь мы на воле — ведь это наш мир!
Свихнулись мы, что ли, — всплывать в минном поле?!
— А ну, без истерик! Мы врежемся в берег! —
Сказал командир.

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!
Спешите к нам!

Услышьте нас на суше —
Наш SOS все глуше, глуше.
И ужас режет души
Напополам...

Всплывем на рассвете — приказ есть приказ.
Погибнуть во цвете уж лучше при свете.
Наш путь не отмечен. Нам нечем... Нам нечем!..
Но помните нас!

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!
Спешите к нам!

Услышьте нас на суше —
Наш SOS все глуше, глуше.
И ужас режет души
Напополам...

Вот вышли наверх мы, но выхода нет!
Вот — полный на верфи! Натянуты нервы,
Конец всем печалям, концам и началам —
мы рвемся к причалам
Заместо торпед!

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья,
Спасите наши души!
Спешите к нам!

Услышьте нас на суше —
Наш SOS все глуше, глуше.
И ужас режет души
Напополам...



Охота на волков

1967-1968

24

Рвусь из сил и из всех сухожилий,
Но сегодня — опять, как вчера, —
Обложили меня. Обложили!
Гонят весело на номера!

Из-за елей хлопчут двустволки —
Там охотники прячутся в тень.
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.

Идёт охота на волков. Идёт охота!
На серых хищников — матёрых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука!
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.

Волк не может нарушить традиций.
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали — «Нельзя за флажки!»

И вот — охота на волков. Идёт охота!
На серых хищников — матёрых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Наши ноги и челюсти быстры.
Почему же, вожак, дай ответ —
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем через запрет?!

Волк не может, не должен иначе.
Вот кончается время моё.
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся — и поднял ружьё...

Идёт охота на волков. Идёт охота!
На серых хищников — матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Я из повиновения вышел!
За флажки — жажда жизни сильнее!
Только сзади я радостно слышал
Удивлённые крики людей.

Рвусь из сил и из всех сухожилий,
Но сегодня — не так, как вчера!
Обложили меня! Обложили!
Но остались ни с чем егеря!

Идёт охота на волков. Идёт охота!
На серых хищников — матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Протопи ты мне баньку, хозяйюшка,
Раскалю я свбя, распалю,
На полоке, у самого краешка,
Я сомненья в себе истреблю.

Разомлею я до неприличности,
Ковш холодной — и всё позади.
И наколка времен культа личности
Засинеет на левой груди.

Протопи ты мне баньку по-белому —
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Сколько веры и леса повалено,
Сколь изведено горя и трасс,
А на левой груди профиль Сталина,
А на правой — Маринка, анфас.

Эх! За веру мою беззаветную
Сколько лет отдыхал я в раю!
Променял я на жизнь беспросветную
Несусветную глупость мою.

Протопи ты мне баньку по-белому —
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Вспоминаю, как утречком раненько
Брату крикнуть успел: «Пособи!»
И меня два красивых охранника
Повезли из Сибири в Сибирь.

А потом, на карьере ли, в топи ли,
Наглотавшись слезы и сырца,
Ближе к сердцу кололи мы профили,
Чтоб он слышал, как рвутся сердца.

243

Не топи ты мне баньку по-белому —
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Ох! Знобит от рассказа дотошного,
Пар мне мысли прогнал от ума.
Из тумана холодного прошлого
Окунаюсь в горячий туман.

Застучали мне мысли под темечком,
Получилось, я зря им клеймён,
И хлещу я берёзовым веничком
По наследию мрачных времён.

Протопи ты мне баньку по-белому —
Чтоб я к белому свету привык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Песня о земле

1968

241

Кто сказал:— Все сгорело дотла,
Больше в Землю не броситв семя?!
Кто сказал, что Земля умерла?
Нет!— она затаилась на время.

Материнства не взять у Земли,
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что Землю сожгли?
Нет!— она почернела от горя.

Как разрезы, траншеи легли,
И воронки, как раны, зияют.
Обнажённные нервы Земли
Неземное страдание знают.

Она вынесет всё, переждёт.
Не записывай Землю в калеки!
Кто сказал, что Земля не поёт,
Что она замолчала навеки?

Нет! Звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин.
Ведь Земля— это наша душа,
Сапогами не вытоптать душу!

Кто поверил, что Землю сожгли?
Нет!— она затаилась на время.

Он не вернулся из боя

1968

245

Почему всё не так, вроде всё, как всегда,
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять — кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя,
Мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь — не про то разговор,
Вдруг заметил я — нас было двое.
Для меня словно ветром задуло костёр,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалась будто из плена весна.
По ошибке окликнул его я:
— Друг! Оставь покурить! — а в ответ — тишина:
Он вчера не вернулся из боя.

Наши мёртвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло для обоих,
Всё теперь — одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.

Песня самолета-истребителя

1968

246

Я — «ЯК»-истребитель, мотор мой звенит,
Небо — моя обитель,
Но тот, который во мне сидит,
Считает, что он — истребитель.

В этом бою мною «юнкерс» сбит,—
Я сделал с ним, что хотел.
А тот, который во мне сидит,
Изрядно мне надоел.

Я в прошлом бою навывлет прошит,
Меня механик заштопал,
Но тот, который во мне сидит,
Опять заставляет — в «штопор».

Из бомбардировщика бомба несёт
Смерть аэродрому,
А, кажется, стабилизатор поёт:
«Мир вашему дому!»

Вот сзади заходит ко мне «мессершмитт».
Уйду — я устал от ран,
Но тот, который во мне сидит,
Я вижу — решил на таран!

Что делает он? Вот сейчас будет взрыв!
Но мне не гореть на пескв —
Запреты и скорости все перекрыв,
Я выхожу из пике.

Я — главный, а сзади, ну, чтоб я сгорел! —
Где же он, мой ведомый?
Вот он задымился, кивнул и запел:
«Мир вашему дому!»

И тот, который в моем черепке,
Остался один и влип.
Меня в заблужденье он ввёл и в пике —
Прямо из мертвой петли.

247

Он рвёт на себя, и нагрузки — вдвойне.
Эх, тоже мне летчик-ас!
И снова приходится слушаться мне,
Но это в последний раз.

Я больше не буду покорным, клянусь!
Уж лучше лежать на земле.
Ну, что ж, он не слышит, как бесится пульс,
Бензин — моя кровь — на нуле.

Терпенью машины бывает предел,
И время его истекло.
И тот, который во мне сидел,
Вдруг ткнулся лицом в стекло.

Убит! Наконец-то лечу налегке,
Последние силы жгу.
Но... что это, что? Я в глубоком пике
И выйти никак не могу!

Досадно, что сам я немного успел.
Но пусть повезёт другому.
Выходит, и я напоследок спел:
«Мир вашему дому!»

ВОКРУГ КОМЕДИИ
АМР
ГАНКЕ
Телефоны
271-26-26, 272-83-00

10
ОКТАБРЯ 1968 г.

Т. Власов
Лев

100⁺ СПЕКТАКЛЬ

Дорогой народ!
Асторельясы!!!

Б. БРЕХТ

ЖИЗНЬ ГАМИЛЕЯ

Перевод Л. Копелева Стихи в переводе Д. Самойлова
Пьеса в 2-х частях

Галилей — В. Высоцкий (100)
Сэрти в мантии — А. Власова
Т. Жуков
Сирте в экстракте — В. Погорельцев (100)
Сэрти жеманка — Н. Ульянова
Андреа — М. Полирейтова
Марси и билетный — Д. Щербатов (100)
Индий человек
Учитель университета — В. Сизов (100)
и Падуге — В. Иванов
друг Галилея — Е. Корнилова
Т. Дадина
Л. Волков
Галилей — Г. Ронинсон (100)
Ю. Смирнов, В. Семенов,
Р. Амбрилл
— А. Сабинин (100)

Козимо Медичи, великий герцог Флоренции
Маршал двора Теллиг
Философ Математик
1-я придворная дама
2-я придворная дама
Физик Мудрец, ученый
Гаффрино, ректор университета
тетя в Пизе
Очень толстый монах
Очень старый кардинал
Кампус
Математик
Кардинал-генерал
Кардинал Барбизина

З. Савани
Т. Жуков
В. Ролуцкий
— Г. Ронинсон
— Р. Амбрилл
В. Фоменко
— В. Соболев (100)
— Н. Петров (100)
Т. Мехов
— Т. Иванова
— А. Колосовский
— И. Петров
— Р. Амбрилл
— Г. Ронинсон
— К. Желди
Ю. Медведов
В. Золотухин (100)
— Е. Шушнев (100)
Р. Амбрилл
— В. Соболев

Кардинал Белларини — В. Сизов
1-й монах, писец — Р. Дин
2-й монах, писец — В. Иванов
3-й монах — Т. Дадина, Р. Ролуцкий
Т. Аушкова, Т. Иванова
А. Савченко, Н. Иванова
Учитель школы — В. Золотухин
Н. Шадрин, В. Родина
В. Семенов
Великий владыка мантии — Ю.
Некий субъект — Ю.
Великий владыка мантии — Ю.
Монах туркини — Ю.
Монах — Д. Мещеряков
А. Колосовский
М. Петров, В. Сизов
А. Сабинин, А. Хлопов
В. Иванов, В. Иванов
В. Фоменко, В. Сизов

Юрия ЛЮБИМОВА Художник ЭНДР СТЕНБЕРГ Музыкант из произведения ДМИТРИЯ Ш...
Музыка в стиле Бориса ХМельницкого и Анатолия Васильева
Л. Смирнов и др. сценаристы — Н. Морозовина Стихотворение «Дура» — Е. ЕВТУШЕНКО
Стихотворение Л. Смирнова — Г. ГАГОЯНИ, Валерия РАЕВСКАЯ, Алексей ЧАПЛЕВСКИЙ
Стихотворение — В. А. ХАДЖИ ОГЛЫ (100)
Юрий ЛЮБИМОВ

Здесь лапы у елей дрожат на весу,
Здесь птицы щебечут тревожно.
Живешь в заколдованном диком лесу,
Откуда уйти невозможно...

Пусть черёмухи сохнут бельём на ветру,
Пусть дождём опадают сирени —
Всё равно я отсюда тебя заберу
Во дворец, где играют свирели...

Твой мир колдунами на тысячи лет
Укрыт от меня и от света,
И думаешь ты, что прекраснее нет,
Чем лес заколдованный этот!

Пусть на листьях не будет росы поутру,
Пусть луна с небом пасмурным в ссоре, —
Всё равно я отсюда тебя заберу
В светлый терем с балконом на море...

В какой день недели, в котором часу
Ты выйдешь ко мне осторожно...
Когда я тебя на руках унесу
Туда, где найти невозможно...

Украду, если кража тебе по душе, —
Зря ли я столько сил разбазарил?
Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,
Если терем с дворцом кто-то занял!

В сон мне — жёлтые огни,
И хриплю во сне я:
— Повремени, повремени —
Утро мудренее!

Но и утром всё не так,
Нет того веселья:
Или куришь натоцак,
Или пьёшь с похмелья.

В кабаках — зелёный штоф,
Белые салфетки.
Рай для нищих и шутов,
Мне ж — как птице в клетке.

В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви всё не так.
Всё не так, как надо.

Я — на гору впопыхах,
Чтоб чего не вышло,
На горе стоит ольха,
А под горою вишня.

Хоть бы склон увить плющом,
Мне б и то отрада!
Хоть бы что-нибудь ещё...
Всё не так, как надо!

Я — по полю, вдоль реки.
Света — тьма, нет Бога!
В чистом поле васильки,
Дальняя дорога.

Вдоль дороги — лес густой
С Бабами-Ягами,
А в конце дороги той —
Плаха с топорами.

251

Где-то кони пляшут в такт,
Нехотя и плавно.
Вдоль дороги всё не так,
А в конце — давно.

И ни церковь, ни кабак —
Ничего не свято!
Нет, ребята! Всё не так,
Всё не так, ребята!

Я не люблю

1969

25

Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
В которое болею или пью.

Я не люблю холодного цинизма,
В восторженность не верю, и ещё —
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда наполовину,
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или — когда все время против шерсти,
Или — когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, коль слово «честь» забыто
И коль в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья —
Нет жалости во мне, и неспроста,
Я не люблю насилья и бессилья,
Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу,
Я не терплю, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более — когда в нее плюют.

Я не люблю манежи и арены:
На них мильон меняют по рублю,—
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю.





Нет меня, я покинул Расею!
Мои девочки ходят в соплях.
Я теперь свои семечки сею
На чужих Елисейских полях.

Кто-то вякнул в трамвае на Пресне:
«Нет его, умотал наконец!
Вот и пусть свои чуждые песни
Пишет там про Версальский дворец!»

Слышу сзади — обмен новостями:
«Да не тот, тот уехал — спроси...»
«Ах, не тот?» — и толкают локтями,
И сидят на коленях в такси.

А с которым сидел в Магадане —
Мой дружок по гражданской войне —
Говорит, что пишу ему: «Ваня,
Я в Париже. Давай, брат, ко мне!»

Я уже попросился обратно,
Унижался, юлил, умолял...
Ерунда! Не вернусь, вероятно,
Потому что и не уезжал.

Кто поверил — тому по подарку,
Чтоб хороший конец, как в кино, —
Забирай Триумфальную арку!
Налетай на заводы Рено!

Я смеюсь, умираю от смеха.
Как поверили этому бреду?
Не волнуйтесь — я не уехал.
И не надейтесь — я не уеду!

Я скачу, но я скачу иначе,
По камням, по лужам, по росе.
Бег мой назван иноходью, значит,—
По-другому, то есть не как все.

Но наездник мой всегда на мне,
Стременами лупит мне под дых.
Я согласен бегать в табуне—
Но не под седлом и без узды.

Если не свободен нож от ножен,
Он опасен меньше, чем игла.
Вот и я осёдлан и стреножен,
Рот мой разрывают удила.

Мне набили раны на спине,
Я дрожу боками у воды.
Я согласен бегать в табуне,
Но не под седлом и без узды.

Мне сегодня предстоит бороться.
Скачки! Я сегодня—фаворит.
Знаю—ставят все на иноходца,
Но не я—жокей на мне хрипит!

Он вонзает шпоры в рёбра мне,
Зубоскалят первые ряды.
Я согласен бегать в табуне,
Но не под седлом и без узды.

Пляшут, пляшут скакуны на старте,
Друг на друга злобу затая,
В исступленье, в бешенстве, в азарте,
И роняют пену, как и я.

Мой наездник у трибун в цене —
Крупный мастер верховой езды.
Ах! Как я бы бегал в табуне,
Но не под седлом и без узды.

Нет! Не будут золотыми горы!
Я последним цель пересеку.
Я ему припомню эти шпоры,
Засбою, отстану на скаку.

Колокол! Жокей мой «на коне»,
Он смеётся, в предвкушенье мзды.
Ах! Как я бы бегал в табуне,
Но не под седлом и без узды.

Что со мной, что делаю, как смею —
Потакаю своему врагу!
Я собою просто не владею,
Я прийти не первым не могу.

Что же делать? Остаётся мне
Вышвырнуть жокея моего
И бежать, как будто в табуне, —
Под седлом, в узде, но без него.

Я пришел, а он в хвосте плетётся,
По камням, по лужам, по росе.
Я впервые не был иноходцем,
Я стремился выиграть, как все.

V LADIMIR VYSOTSKY



Истома ящерицей ползает в костях,
И сердце с трезвой головой не на ножах.
И не захватывает дух на скоростях,
Не холодеет кровь на виражах.

И не прихватывает горло от любви,
И нервы больше не в натяжку, хочешь — рви,
Провисли нервы, как веревки от белья,
И не волнует, кто кого — он или я.

На коне — толкани — я с коня.
Только «не», только «ни» — у меня.

Не пью воды, чтоб остыли зубы, ключевой,
И ни событий, ни людей не тороплю.
Мой лук валяется со сгнившей тетивой,
Все стрелы сломаны, я ими печь топлю.

Не напрягаюсь и не рвусь, а как-то так.
Не вдохновляет даже самый факт атак.
Сорвиголов не принимаю и корю,
Про тех, кто в омут с головой, — не говорю.

На коне — толкани — я с коня.
Только «не», только «ни» — у меня.

И не хочу ни выяснять, ни изменять,
И ни вязать, и ни развязывать узлы.
Углы тупые можно и не огибать,
Ведь после острых — это не углы.

Любая нежность душу не разбередит,
И не внушит никто, и не разубедит.

А так как чужды всякой всячине мозги,
То ни предчувствия не жмут, ни сапоги.

На коне — толкани — я с коня.
Только «не», только «ни» — у меня.

Не ноют раны, да и шрамы не болят —
На них наложены стерильные бинты.
И не зудят, и не свербят, не теребят
Ни мысли, ни вопросы, ни мечты.

Свободный ли, тугой ли пояс — мне-то что.
Я пули в лоб не удостоюсь — не за что.
Я весь прозрачен, как раскрытое окно,
И неприметен, как льняное полотно.

На коне — толкани — я с коня.
Только «не», только «ни» — у меня.

Ни философский камень больше не ищу,
Ни корень жизни, — ведь уже нашли женьшень.
Не посягаю, не стремлюсь, не трепещу
И не надеюсь поразить мишень.

Устал бороться с притяжением земли.
Лежу — так больше расстоянье до петли.
И сердце дёргается, словно не во мне.
Пора туда, где только «ни» и только «не».

Толка нет, толкани — и с коня.
Только «не», только «ни» — у меня.

Чтоб не было следов — повсюду подмели.
Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте!
Мой финиш — горизонт, а лента — край Земли,
Я должен первым быть на горизонте.

Условия пари одобрили не все,
И руки разбивали неохотно.
Условье таково, чтоб ехать по шоссе,
И только по шоссе — бесповоротно.

Наматывая мили на кардан,
Я еду параллельно проводам,
Но то и дело тень перед мотором —
То чёрный кот, то кто-то в чём-то чёрном...

Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут.
Догадываюсь, в чем и как меня обманут.
Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут
И где через дорогу трос натянут.

Но стрелки я топлю. На этих скоростях
Песчинка обретает силу пули.
И я сжимаю руль до судорог в кистях —
Успеть, пока болты не затянули!

Наматывая мили на кардан,
Я еду вертикально проводам.
Завинчивают гайки. Побыстрее!
Не то поднимут трос, как раз где шея.

И плавится асфальт, протекторы кипят.
Под ложечкой сосёт от близости развязки.
Я голой грудью рву натянутый канат.
Я жив! Снимите чёрные повязки.

Кто вынудил меня на жёсткое пари —
Нечистоплотны в споре и расчётах.
Азарт меня пьянит, но, как ни говори,
Я торможу на скользких поворотах!

263

Наматываю мили на кардан
Назло канатам, тросам, проводам.
Вы только проигравших урезоньте,
Когда я появлюсь на горизонте!

Мой финиш — горизонт — по-прежнему далек.
Я ленту не порвал, но я покончил с тросом.
Канат не пересёк мой шейный позвонок,
Но из кустов стреляют по колёсам.

Меня ведь не рубли на гонку завели,
Меня просили: — Миг не проворонь ты!
Узнай, а есть предел там, на краю Земли,
И можно ли раздвинуть горизонты?

Наматываю мили на кардан.
И пулю в скат вlepить себе не дам.
Но тормоза отказывают. Кода!
Я горизонт промахиваю с хода.

Милицейский протокол

1971

26

Считать по-нашему, мы выпили немного.
Не вру, ей-бога! Скажи, Серега!
И если б водку гнать не из опилок —
То чтоб нам было с пяти бутылок?

Вторую пили близ прилавка, в закуточке,
Но это были ещё цветочки!
Потом в скверу, где детские грибочки...
Потом не помню — дошёл до точки.

Я пил из горлышка, с устатку и не евши.
Но как стекло был — остекленевший.
А уж когда коляска подкатила,
Тогда в нас было — семьсот на рыло.

Мы, правда, третьего насильно затащили,
Ну, тут — промашка, переборщили.
А что очки товарищу разбили,
Так то портвейном усугубили.

Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь.
Что не буяньте, что разойдитесь!
На «разойтись» — я сразу согласился,
И разошёлся.... И расходился.

Но если я кого ругал — карайте строго!
Но это вряд ли — скажи, Серега!
А что упал — так то от помутнения.
Орал — не с горя, от отупенья.

Теперь разрешьте пару слов без протокола.
Чему нас учат семья и школа?

Что жизнь сама таких накажет строго.
Тут мы согласны — скажи, Серега!

265

Вот он проснётся утром — он, конечно,
скажет:
— Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет.
Так отпустите — вам же легче будет!
Чего возиться, коль жизнь осудит?!

Вы не глядите, что Сережа все кивает, —
Он соображает, всё понимает!
А что молчит, так это от волненья,
От осознанья и просветленья.

Не запирайте, люди! Плачут дома детки!
Ему же — в Химки, а мне — в Медведки!
А, все равно, автобусы не ходят,
Метро закрыто, в такси не содят.

Приятно, всё-таки, что нас тут уважают.
Гляди, подвозют! Гляди, сажают!
Разбудит утром не петух, прокукарекав, —
Сержант поднимет — как человек.

Нас чуть не с музыкой проводят,
как проспимся.
Я рупь значил — опохмелимся!
Но всё же, брат, трудна у нас дорога...
Эх, бедолага! Ну, спи, Серега...



Мосты сгорели, углубились броды,
И тесно — видим только черепа,
И перекрыты выходы и входы,
И путь один — туда, куда толпа.

И парами коней, привыкших к цугу,
Наглядно доказав, как тесен мир,
Толпа идёт по замкнутому кругу...
И круг велик, и сбит ориентир.

Течёт

под дождь попавшая палитра,
Врываються галопы в полонез,
Нет запахов, цветов, тонов и ритмов,
И кислород из воздуха исчез.

Ничьё безумье или вдохновенье
Круговращенье это не прервет.

Не есть ли это — вечное движенье,
Тот самый бесконечный путь вперёд?

Баллада о брошенном корабле

1972

261

Капитана в тот день называли на «ты»,
Шкипер с юнгой сравнялись в талантах.
Распрямя хребты и срывая бинты,
Бесновались матросы на вантах.

Двери наших мозгов посрывало с петель
В миражи берегов, в покрывала земель
Этих обетованных, желанных,
И колумбовых, и магелланных!

Только мне берегов не видать и земель —
С хода в девять узлов сел по горло
на мель.

А у всех молодцов — благородная цель...
И в конце-то концов — я ведь сам сел
на мель.

И ушли корабли — мои братья, мой флот.
Кто чувствительней — брызги сглотнули.
Без меня продолжался великий поход,
На меня ж парусами махнули.

И погоду, и случай безбожно кляня,
Мои пасынки кучей бросали меня.
Вот со шлюпок два залпа — и ладно!
— От Колумба и от Магеллана.

Я пью пену — волна не доходит до рта.
И от палуб до дна обнажились борта.
А бока мои грязны — таи не таи —
Так любуйтесь на язвы и раны мои!

Вот дыра у ребра — это след от ядра,
Вот рубцы от тарана и даже

Видно шрамы от крючьев — какой-то пират
Мне хребет перебил в абордаже.

269

Киль — как старый, неровный, гитаровый
гриф.

Это брюхо вспорол мне коралловый риф.
Задыхаюсь, гнию — так бывает:
И просоленное загнивает.

Ветры кровь мою пьют и сквозь щели снуют
Прямо с бака на ют. Меня ветры добьют!
Я под ними стою от утра до утра,
Гвозди в душу мою забивают ветра.

И гулякой шальным всё швыряют вверх дном
Эти ветры — незваные гости.
Захлебнуться бы им в моих трюмах вином
Или с мели сорвать меня в злости!

Я уверовал в это, как загнанный зверь,
Но не злобные ветры нужны мне теперь!
Мои мачты — как дряблые руки,
Паруса — словно груди старухи.

Будет чудо восьмое! И добрый прибой
Мое тело омоет живую водой.
Моря божья роса с меня снимет табу,
Вздует мне паруса, будто жилы на лбу.

Догоню я своих, догоню и прощу
Позабывшую помнить армаду.
И команду свою я обратно пущу,
Я ведь зла не держу на команду.

Только, кажется, нет больше места в строю.
Плохо шутишь, корвет, потеснишь, — раскрою!
Как же так — я ваш брат, я ушел от беды!
Полевее, фрегат, всем нам хватит воды!

До чего ж вы дошли? Значит, что —
мне уйти?

273

Если был на мели — дальше нету пути?!
Разомкните ряды, всё же мы — корабли,
Всем нам хватит воды, всем нам хватит
земли —

Этой обетованной, желанной,
И колумбовой, и магелланной...

Бегают по лесу стаи зверей,
Не за добычей, не на водопой —
Денно и ночью они егерей
Ищут весёлой толпой.

Звери, забыв вековые страхи,
С твердою верой, что всё по плечу,
Шкуры рванув на груди, как рубахи,
Падают навзничь — бери — не хочу!

Сколько их в кущах — столько их в чащах,
Рёвом ревущих, рыком рычащих.
Сколько бегущих — столько лежащих
В дебрях и кущах, в рощах и чащах.

Рыбы пошли косяком против волн —
Черпай руками, иди по ним вброд!
Столько желвующих прямо на стол.
Сразу на блюдо — и в рот.

Рыба не мясо — она хладнокровней:
В сеть норовит, на крючок, в невода.
Рыбы погреться хотят на жаровне, —
Море по жабры, вода — не вода.

Сколько их в кущах — столько их в чащах,
Скопом плывущих, кишмя кишущих,
Друг друга жрущих, тучных и тощих
В дебрях и кущах, в чащах и рощах.

Птица на дробь устремляет полёт,
Птица на выдумки стала хитра:
Чтобы им яблоки всунуть в живот —
Гуси не ели с утра.

Сильная птица сама на охоте
Хилым собратьям кричит: — Сторонись!
Жизнь прекращает в зените, на взлёте,
Даже без выстрела падая вниз.

Сколько их в куцах — столько их в чащах,
Выстрела ждущих, в силки летящих.
Сколько плывущих — столько парящих
В дебрях и куцах, в рощах и чащах.

Шкуры не хочет пушнина носить,
Так и стремится в капкан и в загон.
Чтобы людей приодеть, утеплить,
Рвётся из кожи вон.

В ваши силки — призадумайтесь, люди! —
Прут добровольно в отменных мехах
Тысячи сот в иностранной валюте,
Тысячи тысячей в наших деньгах.

Сколько их в куцах — столько их в чащах,
Дань отдающих, даром дарящих,
Шкур настоящих, нежных и прочных
В дебрях и чащах, в куцах и рощах.
В сумрачных чащах, дебрях и куцах
Сколько рычащих — столько ревущих,
Сколько пасущихся — столько кишящих,
Мечущих, рвущихся, живородящих,
Серых, обычных, в перьях нарядных,
Сколько их, хищных и травоядных,
Шерстью линяющих, шкуру меняющих,
Блеющих, лающих млекопитающих.
Сколько летящих, бегущих, ползущих —
Столько непьющих в рощах и куцах,
И некурящих в дебрях и чащах!
И пресмыкающихся, и парящих,
И подчинённых, и руководящих,
Вещих и вящих, врущих и рвущих
В дебрях и чащах, в рощах и куцах!

Шкуры не порчены, рыба — живьём,
Мясо без дробы — зубов не сломать.
Ловко, продуманно, просто, с умом,
Мирно — зачем же стрелять?

Каждому егерю — белый передник!
В руки — таблички: «Не бей! Не губи!»
Всё это вместе зовут — заповедник,
Заповедь только одна — «Не убий!»

Но... сколько в дебрях, рощах и куцах
И сторожащих, и стерегущих,
И загоняющих — в меру азартных,
Плохо стреляющих и предынфарктных,
Травящих, лающих, конных и пеших,
И отдыхающих — с внешностью леших.
Сколько их — знающих и искушённых,
Не попадающих в цель, — разозлённых,
Сколько бегущих, ползущих, орущих
В дебрях и чащах, в рощах и куцах!
Сколько дрожащих, портящих шкуры,
Сколько ловящих на самодуры!
Сколько их язвенных — столько всеядных,
Сетью повязанных и кровожадных,
Полных и тучных, тощих, ледащих
В рощах и куцах, в дебрях и чащах!

Кони привередливые

1972

274

Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому
по краю
Я коней своих нагайкою стегаю — погоняю,—
Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман
глотаю,
Чую с гибельным восторгом — пропадаю!
Пропадаю!

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть!
Но что-то кони мне попались привередливые,
И дожить не успел, мне допеть не успеть.
Я коней напою,
Я куплет допою,—
Хоть немного ещё постою
на краю?

Сгину я, меня пушинкой ураган сметёт с ладони.
И в санях меня галопом повлекут по снегу
утром.
Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони!
Хоть немного, но продлите путь к последнему
приюту!

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Не указчики вам кнут и плеть.
Но что-то кони мне попались привередливые,
И дожить я не смог, мне допеть не успеть.
Я коней напою,
Я куплет допою,—
Хоть немного ещё постою
на краю?

Мы успели — в гости к Богу не бывает

опозданий.

Что ж там ангелы поют такими злыми голосами?

Или это колокольчик весь зашёлся от рыданий?

Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро

сани?

275

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!

Умоляю вас вскачь не лететь!

Но что-то кони мне попались привередливые,

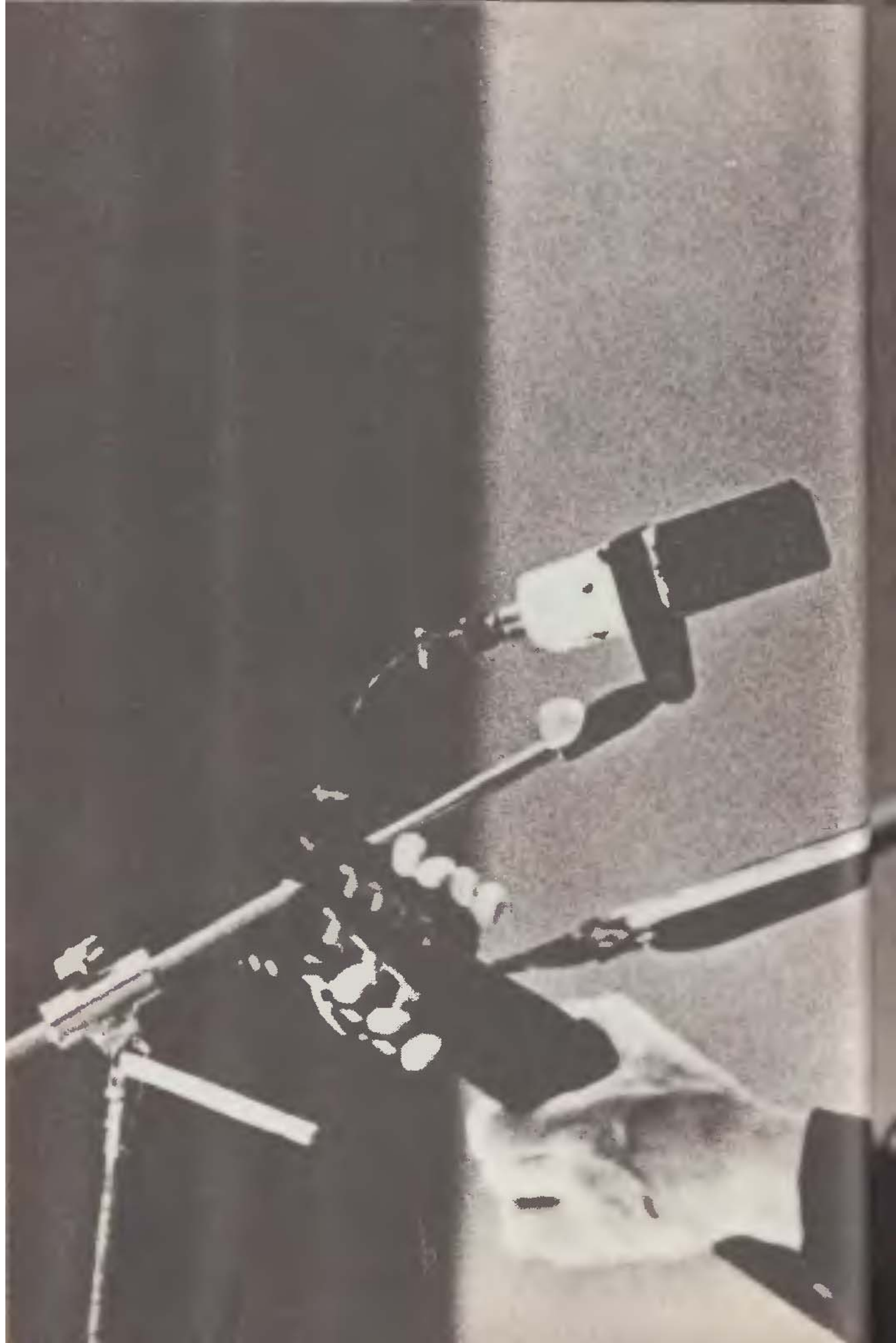
Коль дожить не успел, так хотя бы допеть!

· Я коней напою,

Я куплет допою,—

Хоть мгновенье ещё постою

на краю...





Прошла пора вступлений и прелюдий.
Всё хорошо, не вру, без дураков.
Меня к себе зовут большие люди,
Чтоб я им пел «Охоту на волков».

Быть может, запись слышал из окон,
А может быть, с детьми ухи не сваришь.
Как знать? Но приобрел магнитофон
Какой-нибудь ответственный товарищ.

И, предаваясь будничной беседе
В кругу семьи, где свет торшера тускл,
Тихонько, чтоб не слышали соседи,
Он взял, да и нажал на кнопку «пуск».

И там, не разобрав последних слов,
(Прескверный дубль достали на работе)
Услышал он «Охоту на волков»
И кое-что ещё на обороте.

И всё прослушав до последней ноты,
И разозлясь, что слов последних нет,
Он поднял трубку: «Автора «Охоты»
Ко мне пришлите завтра в кабинет».

Я не хлебнул для храбрости винца
И, подавляя частую икоту,
С порога, от начала до конца,
Ему пропел ту самую «Охоту».

Его просили дети, безусловно,
Чтобы была улыбка на лице.
Но он меня прослушал благосклонно
И даже аплодировал в конце.

И об стакан бутылкою звеня,
Которую извлёк из книжной полки,
Он выпалил: «Да это ж про меня!
Про нас про всех, какие к чёрту волки?!»

279

Ну всё,—теперь, конечно, что-то будет.
Уже три года—в день по пять звонков.
Меня к себе зовут большие люди,
Чтоб я им пел «Охоту на волков».

О фатальных датах и цифрах

1973

Поэтам и прочим, но больше поэтам

Кто кончил жизнь трагически — тот истинный
поэт,

А если в точный срок — так в полной мере.
На цифре 26 один шагнул под пистолет,
Другой же — в петлю слазил в «Англетере».

А в тридцать три Христу... (Он был поэт,
он говорил:
— Да не убий! Убьёшь — везде найду, мол.)
Но — гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и чтобы меньше думал.

С меня при цифре 37 в момент слетает хмель,
Вот и сейчас, как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дузль
И Маяковский лёг виском на дуло.

Задержимся на цифре 37. Коварен Бог —
Ребром вопрос поставил: или — или.
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние как-то проскочили.

Дузль не состоялась или перенесена,
А в тридцать три распяли, но не сильно.
А в тридцать семь — не кровь,
да что там кровь — и седина
Испачкала виски не так обильно.

Слабó стреляться? В пятки, мол, давно ушла
душа?!

Терпенье, психопаты и кликуши!
Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души.

На слово «длинношеве» в конце пришлось
три «В».

Укоротить поэта! — вывод ясен.

И нож в него — но счастлив он висеть
на острие,

Зарезанный за то, что был опасен.

Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр!

Томитесь, как наложницы в гареме:

Срок жизни увеличился, и, может быть, концы

Поэтов отодвинулись на время!

Я весь в свету, доступен всем глазам.
Я приступил к привычной процедуре.
Я к микрофону встал как к образам.
Нет! Нет! Сегодня, точно к амбразуре.

И микрофону я не по нутру.
Да! Голос мой любому опостылит.
Уверен, если где-то я совру —
Он ложь мою безжалостно усилит.

Бьют лучи от рампы мне под рёбра,
Светят фонари в лицо недобро,
И слепят с боков прожектора,
И жара, жара...

Он, бестия, потоньше острия.
Слух безотказен, слышит фальшь до йоты.
Ему плевать, что не в ударе я,
Но пусть я верно выпеваю ноты.

Сегодня я особенно хриплю,
Но изменить тональность не рискую.
Ведь если я душою покривлю —
Он ни за что не выпрямит кривую.

Бьют лучи от рампы мне под рёбра,
Светят фонари в лицо недобро,
И слепят с боков прожектора,
И жара, жара...

На шее гибкой зтот микрофон
Своей змеиной головою вертит.
Лишь только замолчу — ужалит он.
Я должен петь до одури, до смерти.

Не шевелись, не двигайся, не смей!
Я видел жало — ты змея, я знаю!
А я сегодня заклинатель змей,
Я не пою, я кобру заклинаю!

Бьют лучи от рампы мне под рёбра,
Светят фонари в лицо недобро,
И слепят с боков прожектора,
И жара, жара...

Прожорлив он, и с жадностью птенца
Он изо рта выхватывает звуки.
Он в лоб мне вlepит девять грамм свинца.
Рук не поднять, — гитара вяжет руки.

Опять!!! Не будет этому конца!
Что́ есть мой микрофон — кто мне ответит?
Теперь он — как лампада у лица,
Но я не свят, и микрофон не светит.

Бьют лучи от рампы мне под рёбра,
Светят фонари в лицо недобро,
И слепят с боков прожектора,
И жара, жара...

Мелодии мои попроще гамм,
Но лишь сбиваюсь с искреннего тона,
Мне сразу больно хлещет по щекам
Недвижимая тень от микрофона.

Я освещён, доступен всем глазам.
Чего мне ждать — затишья или бури?
Я к микрофону встал как к образам.
Нет! Нет! Сегодня точно — к амбразуре.

Бьют лучи от рампы мне под рёбра,
Светят фонари в лицо недобро,
И слепят с боков прожектора,
И жара, жара...

Я вышел ростом и лицом —
Спасибо матери с отцом.
С людьми в ладу — не понукал, не помыкал.
Спины не гнул — прямым ходил,
И в ус не дул, и жил, как жил,
И голове своей руками помогал.

Но был донос и был навет...
Кругом пятьсот и наших нет.
Был кабинет с табличкой «Время уважай!»
Там прямо бёз соли едят,
Там штемпель ставят наугад,
В конверт кладут и посылают за Можай.

Потом зачёт, потом домой
С семью годами за спиной.
Висят года на мне — не бросить, не продать,
Но на начальника попал,
Который бойко вербовал, —
И за Урал машины стал перегонять.

Дорога, а в дороге «МАЗ»,
Который по уши увяз.
В кабине тьма, напарник третий час молчит.
Хоть бы кричал, аж зло берет —
Назад пятьсот, пятьсот — вперед,
А он зубами «Танец с саблями» стучит.

Мы оба знали про маршрут,
Что зтот «МАЗ» на стройке ждут.
А наше дело — сел, поехал, нóчь-полнóчь!
И надо ж так — под Новый год
Назад пятьсот, вперед пятьсот,
Сигналим зря — пурга — и некому помочь.

— Глуши мотор,— он говорит,—
Пусть этот «МАЗ» огнем горит.
Мол, видишь сам — тут больше нечего ловить,
Мол, видишь сам — кругом пятьсот,
И к ночи точно занесет,
Так заровняет, что не надо хоронить!

Я отвечаю: — Не канючь!
А он — за гаечный за ключ
И волком смотрит, он вообще бывает крут.
А что ему — кругом пятьсот,
И кто кого переживает,
Тот и докажет, кто был прав, когда припрут.

Он был мне больше, чем родня,—
Он ел с ладони у меня,
А тут глядит в глаза — и холодно спине.
А что ему — кругом пятьсот,
И кто там после разберет,
Что он забыл, кто я ему и кто он мне.

И он ушел куда-то вбок,
Я отпустил, а сам прилёг.
Мне снился сон про наш веселый наворот,
Что будто вновь кругом пятьсот,
Ищу я выход из ворот,
Но нет его, есть только вход — и то не тот.

Конец простой — пришел тягач,
И там был трос, и там был врач,
И «МАЗ» попал, куда положено ему.
И он пришел — трясётся весь,
А тут опять далекий рейс.
Я зла не помню, я опять его возьму.

Ожидание длилось,
а проводы были недолги —
Пожелали друзья:
«В добрый путь! Чтобы всё — без помех!» —
И четыре страны
предо мной расстелили дороги,
И четыре границы
шлагбаумы подняли вверх.
Тени голых берез
добровольно легли под колёса,
Залоснилось шоссе
и штыком заострилось вдали.
Вечный смертник — комар —
разбивался у самого носа,
Лобовое стекло
превращая в картину Дали.
Сколько смелых мазков
на причудливом мёртвом покрове,
Сколько серых мозгов
и комарьих раздавленных плевр! —
Вот взорвался один,
до отвала напившийся крови,
Ярко-красным пятном
завершая дорожный шедевр.
И сумбурные мысли,
лениво стучавшие в темя,
Устремились в пробой —
ну,
попробуй-ка, останови!
И в машину ко мне
постучало просительно время.
Я впустил это время,
замешенное на крови.

И сейчас же в кабину
глаза сквозь бинты заглянули
И спросили: «Куда ты?
На Запад?»

Вертайся назад!»

Я ответить не смог:
по обшивке царапнули пули.

Я услышал: «Ложись!
Берегись!

Проскочили!

Бомбят!»

Этот первый налёт
оказался не так, чтобы очень:

Схоронили кого-то,
прикрыв его кипой газет,
Вышли чьи-то фигуры
назад на шоссе из обочин,

Как лет тридцать спустя,
на машину мою поглазеть.

И исчезло шоссе —
мой единственный верный фарватер.

Только — елей стволы
без обрубленных минами крон.

Бестелесный поток
обтекал не спеша радиатор.

Я за сутки пути
не продвинулся ни на микрон.

Я уснул за рулем:
я давно разомлел до зевоты.

Ущипнуть себя за ухо
или глаза протереть?

Вдруг в машине моей
я увидел сержанта пехоты:
«Ишь, трофейная пакость,—
сказал он,— удобно сидеть».

Мы поели с сержантом
домашних котлет и редиски.

Он опять удивился:
откуда такое — в войну?

«Я, браток,— говорит,—
восемь дней как позавтракал в Минске.
Ну, спасибо! Езжай!
Будет время — опять загляну».
Он ушел на восток
со своим поредевшим отрядом.
Снова мирное время
пробилось ко мне сквозь броню.
Это время глядело
единственной женщиной
рядом.
И она мне сказала:
«Устал? Отдохни — я сменю».
Все в порядке. На месте.
Мы едем к границе. Нас двое.
Тридцать лет отделяет
от только что виденных встреч.
Вот забегали щетки —
отмыли стекло лобовое.
Мы увидели знаки,
что призваны предостеречь.
Кроме редких ухабов,
ничто на войну не похоже.
Только лес — молодой,
да сквозь снова налипшую грязь
Два огромных штыка
полоснули морозом по коже
Остриями —
по-мирному —
кверху,
а не накренься.
Здесь, на трассе прямой,
мне, не знавшему пуль,
показалось,
Что и я где-то здесь
довоёвывал невдалеке.
Потому для меня
и шоссе, словно штык, заострялось,
И лохмотия свастика
болтались на этом штыке...

За нашей спиной
остались
паденья,
закаты.
Ну, хоть бы ничтожный,
ну, хоть бы
невидимый
взлёт!
Мне хочется верить,
что чёрные
наши
бушлаты
Дадут нам возможность
сегодня
увидеть
восход.
Сегодня на людях
сказали:
«Умрите
геройски!»
Попробуем — ладно!
Увидим,
какой
оборот.
Я только подумал,
чужие
кура
папироски:
«Тут, кто как сумеет,—
мне важно
увидеть
восход».
Особая рота—
особый

почёт для
сапёра.
Не прыгайте с финкой
на спину
мою из
ветвей,
Напрасно стараться,—
я и
с перерезанным
горлом
Сегодня увижу
восход
до развязки
своей.
Прошли по тылам мы,
держась, чтоб
не резать
их сонных,
И тут я заметил,
когда
прокусили
проход,—
Еще несмышлёный,
зеленый,
но чуткий
подсолнух
Уже повернулся
верхушкой
своей на
восход.
За нашей спиною
в 6.30
остались,—
я знаю,—
Не только паденья,
закаты,
но взлёт
и восход.

Два провода голых,
зубами
скрипя,
зачищаю —
Восхода не видел,
но понял —
вот-вот —
и взойдёт.
Уходит обратно
на нас
горевшая
рота.
Что было — неважно,
а важен
лишь взорванный
форт.
Мне хочется верить,
что грубая
наша
работа
Вам дарит возможность
беспошлинно
видеть
восход.

Я вам мозги не пудрю —
уже не тот завод:
В меня стрелял поутру
из ружей целый взвод.
За что мне эта злая,
нелепая стезя,—
Не то, чтобы не знаю,—
рассказывать нельзя.

Мой командир меня почти что спас,
Но кто-то на расстреле настоял,
И взвод отлично выполнил приказ,
Но был один, который не стрелял.

Судьба моя лихая —
давно наперекос,—
Однажды «языка» я
добыл, да не донёс.
И особист Суэтин —
неутомимый наш —
Ещё тогда заметил
и взял на карандаш.

Он выволок на свет и приволок
Подколотый, подшитый матерьял.
Никто поделать ничего не смог.
Нет. Смог... один, который не стрелял.

Рука упала в пропасть
с дурацким звуком: «Пли!»
И залп мне выдал пропуск
в ту сторону земли.
Но слышу: — Жив, зараза!
Тащите в медсанбат!

Расстреливать два раза
устава не велят.

А врач потом все цокал языком
И, удивляясь, пули удалял,
А я в бреду беседовал тайком
С тем пареньком, который не стрелял.

Я раны, как собака,
лизал, а не лечил.
В госпиталях, однако,
в большом почёте был.
Ходил в меня влюблённый
весь слабый женский пол:
Эй, ты, недострелённый!
Давай-ка на укол!

Наш батальон геройствовал в Крыму,
И я туда глюкозу посылал,
Чтоб было слаще воевать ему.
Кому? — Тому, который не стрелял.

Я пил чаек из блюдца,
со спиртиком бывал.
Мне не пришлось загнуться,
и я довоевал.
В свой полк определили:
— Воюй, — сказал комбат, —
А что недострелили,
так я не виноват!

Мне быть бы радым, но, присев у пня,
Я выл белугой и судьбину клял, —
Немецкий снайпер дострелил меня,
Убив того, который не стрелял.

От границы мы Землю вертели назад —
Было дело сначала.
Но обратно её закрутил наш комбат,
Оттолкнувшись ногой от Урала.

Наконец-то нам дали приказ наступать,
Отбирать наши пяди и крохи,
Но мы помним, как солнце отправилось вспять
И едва не зашло на Востоке.

Мы не меряем Землю шагами,
Понапрасну цветы теребя,
Мы толкаем ее сапогами —
От себя! От себя.

И от ветра с Востока пригнулись стога,
Жметя к скалам отара.
Ось земную мы сдвинули без рычага,
Изменив направление удара.

Не пугайтесь, когда не на месте закат,
Судный день — это сказки для старших,
Просто Землю вращают, куда захотят,
Наши сменные роты на марше.

Мы ползём, бугорки обнимаем,
Кочки тискаем зло, не любя,
И коленями Землю толкаем —
От себя! От себя.

Не отыщет средь нас и Особый отдел
Руки кверху поднявших.
Всем живым — ощутимая польза от тел:
Как прикрытье используем павших.

Этот глупый свинец всех ли сразу найдёт,
Где настигнет — в упор или с тыла?
Кто-то там впереди навалился на дот —
И Земля на мгновенье застыла.

Я ступни свои сзади оставил,
Мимоходом по мёртвым скорбя,
Шар земной я вращаю локтями —
На себя! На себя.

Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон,
Принял пулю на вдохе,
Но на Запад, на Запад ползёт батальон,
Чтобы Солнце взошло на Востоке.

Животом — по грязи, дышим смрадом болот,
Но глаза закрываем на запах.
Нынче по небу солнце нормально идет,
Потому что мы рвёмся на Запад!

Руки, ноги — на месте ли? Нет ли?
Как на свадьбе росу пригубя,
Землю тянем зубами за стебли —
На себя! На себя!

Я первый смерил жизнь обратным счетом.
Я буду беспристрастен и правдив:
Сначала кожа выстрелила потом,
И задымилась, поры разрядив.

Я затаился, и затих, и замер.
Мне показалось, я вернулся вдруг
В бездушье безвоздушных барокамер
И в замкнутые петли центрифуг.

Сейчас я стану недвижим и грузен
И погружен в молчанье, а пока
Меха и горны всех газетных кузен
Раздуют это дело на века.

Хлестнула память мне кнутом по нервам,
В ней каждый образ был неповторим:
Вот мой дублер, который мог быть первым,
Который смог впервые стать вторым.

Пока что на него не тратят шрифта —
Запас заглавных букв на одного.
Мы с ним вдвоем прошли весь путь до лифта,
Но дальше я поднялся без него.

Вот тот, который прочертил орбиту.
При мне его в лицо не знал никто.
Я знал: сейчас он в бункере закрытом
Бросает горсти мыслей в решето.

И словно из-за дымовой завесы
Друзей явились лица и семьи.
Они все скоро на страницах прессы
Расскажут биографии свои.

Их всех, с кем знал я доброе соседство,
Свидетелями выведут на суд.
Обычное мое босое детство
Обуют и в скрижали занесут.

Чудное слово «Пуск» — подобье вопля —
Возникло и нависло надо мной.
Недобро, глухо заворчали сопла
И сплюнули расплавленной слюной.

И вихрем чувств пожар души задуло,
И я не смел или забыл дышать.
Планета напоследок притянула,
Прижала, не рискуя отпустить.

И килограммы превратились в тонны,
Глаза, казалось, вышли из орбит,
И правый глаз впервые удивлённо
Взглянул на левый, веком не прикрыт.

Мне рот заткнул — не помню, крик ли, кляп ли.
Я рос из кресла, как с корнями пень.
Вот сожрала все топливо до капли
И отвалилась первая ступень.

Там, подо мной сирены голосили,
Не знаю — хороня или храня.
А здесь надсадно двигатели взвыли
И из объятий вырвали меня.

Приборы на земле угомонились,
Вновь чередом своим пошла весна.
Глаза мои на место возвратились,
Исчезли перегрузки, — тишина.

Эксперимент вошел в другую фазу.
Пульс начал реже в датчики стучать.
Я в ночь влетел, минуя вечер, сразу,
И получил команду отдыхать.

И стало тесно голосам в эфире,
Но Левитан ворвался, как в спортзал.
От отчеканил громко: «Первый в мире!»
Он про меня хорошее сказал.

Я шлем скафандра положил на локоть,
Изрёк про самочувствие свое...
Пришла такая приторная лёгкость,
Что даже затошнило от нее.

Шнур микрофона словно в петлю свился,
Стучали в ребра лёгкие, звеня.
Я на мгновенье сердцем подавился—
Оно застряло в горле у меня.

Я отдал рапорт весело, на совесть,
Разборчиво и очень делово.
Я думал: вот она и невесомость,
Я вешу нуль, так мало—ничего!

Но я не ведал в этот час полёта,
Шутя над невесомостью чудной,
Что от нее кровавой будет рвота
И костный кальций вымоет с мочой.

...Все, что сумел запомнить, я сразу перечислил,
Надиктовал на ленту и даже записал.
Но надо мной парили разрозненные мысли
И стукались боками о вахтенный журнал.

Весомых, зримых мыслей я насчитал немало,
И мелкие сновали меж ними чуть плавней,
Но невесомость в весе их как-то уравнила—
Там после разберутся, которая важней.

А я ловил любую, какая попадалась.
Тянул ее за тонкий, невидимый канат.

Вот первая возникла и сразу оборвалась.
Осталось только слово одно: «Не виноват!»

299

Но слово «невиновен» — не значит
«не причастен», —

Так на Руси ведется уже с давнишних пор.
Мы не тянули жребий, — мне подмигнуло счастье.
И причастился к звездам член партии, майор.

Между «нулем» и «пуском» кому-то показалось,
А может, оператор с испугу записал,
Что я довольно бодро, красуюсь даже малость,
Раскованно и браво «Поехали!» сказал.

Сам виноват — и слёзы лью,
И охаю —

Попал в чужую колею
Глубокую.

Я цели намечал свои
На выбор сам,
А вот теперь из колеи
Не выбраться.

Крутые скользкие края
Имеет эта колея.

Я клянусь проложивших её,—
Скоро лопнет терпенье моё,
И склоняю, как школьник плохой,
Колею — в колее, с колеёй...

Но почему неймётся мне?
Нахальный я!
Условия, в общем, в колее
Нормальные.
Никто не стукнет, не притрёт —
Не жалуйся.
Желаешь двигаться вперёд?
Пожалуйста.

Отказа нет в еде-питье
В уютной этой колее.

И я живо себя убедил —
Не один я в неё угодил.
Так держать! Колесо в колесе!
И доеду туда, куда все.

Вот кто-то крикнул сам не свой:
— А ну, пусти!
И начал спорить с колеёй
По глупости.
Он в споре сжёг запас до дна
Тепла души,
И полетели клапана
И вкладыши.

Но покорёжил он края,
И шире стала колея.

Вдруг его обрывается след —
Чудака оттащили в кювет,
Чтоб не мог он нам, задним, мешать
По чужой колее проезжать.

Вот и ко мне пришла беда —
Стартёр заел.
Теперь уж это не езда,
А ёрзанье.
И надо б выйти, подтолкнуть,
Но прыти нет —
Авось подъедет кто-нибудь —
И вытянет...

Напрасно жду подмоги я.
Чужая эта колея.

Расплеваться бы глиной и ржой
С колеёй этой самой чужой, —
Тем, что я её сам углубил.
Я у задних надежду убил.

Прошиб меня холодный пот
До косточки,
И я прошёлся чуть вперед
По досточке.

Гляжу — размыли край ручьи
Весенние,
Там выезд есть из колеи —
Спасение!

Я грязью из-под шин плюю
В чужую эту колею.

Эй, вы! Задние! Делай, как я.
Это значит — не надо за мной.
Колея эта — только моя.
Выбирайтесь своей колеёй.

Люблю тебя сейчас
Не тайно — напоказ.
Не «после» и не «до» в лучах твоих сгораю.
Навзрыд или смеясь,
Но я люблю сейчас,
А в прошлом — не хочу, а в будущем — не знаю.

В прошедшем — «я любил» —
Печальнее могил,—
Все нежное во мне бескрылит и стреножит,
Хотя поэт поэтов говорил:
— Я Вас любил, любовь ещё, быть может...

Так говорят о брошенном, отцветшем,—
И в этом жалость есть и снисходительность,
Как к свергнутому с трона королю.
Есть в этом сожаленье об ушедшем
Стремленьи, где утеряна стремительность,
И как бы недоверье к «я люблю».

Люблю тебя теперь
Без обещаний: «Верь!»
Мой век стоит сейчас — я вен не перережу!
Во время, в продолжение, теперь —
Я прошлым не дышу и будущим не брежу.

Приду и вброд и вплавь
К тебе — хоть обезглавь! —
С цепями на ногах и с гирями по пуду.
Ты только по ошибке не заставь,
Чтоб после «я люблю» добавил я «и буду».

Есть горечь в этом «буду», как ни странно,
Подделанная подпись, червоточина

И лаз для отступленья, про запас,
Бесцветный яд на самом дне стакана.
И, словно настоящему пощечина,—
Сомненье в том, что я люблю сейчас.

Смотрю французский сон
С обилием времён,
Где в будущем — не так, и в прошлом —
по-другому.

К позорному столбу я пригвождён,
К барьеру вызван я языковому.

Ах, разность в языках!
Не положенье — крах.
Но выход мы вдвоём поищем и обрящем.
Люблю тебя и в сложных временах —
И в будущем, и в прошлом настоящем!

Там у соседа пир горой
И гость солидный, налитой.
Ну, а хозяйка — хвост трубой —
Идет к подвалам.
В замок врезаются ключи,
И вынимаются харчи,
И с тягой ладится в печи,
И с поддувалом.

А у меня сплошные передряги —
То в огороде недород, то скот падёт,
То печь чадит от нехорошей тяги,
А то щекú на сторону ведет.

Там у соседа мясо в щах,
На всю деревню хруст в хрящах.
И дочь-невеста вся в прыщах —
Дозрела, значит.
Смотрины, стало быть, у них, —
На сто рублей гостей одних,
И даже тощенький жених
Поёт и скачет.

А у меня цепные псы взбесились, —
Средь ночи с лая перешли на вой,
И на ногах моих мозоли прохудились
От топотни по комнате пустой.

Ох! У соседа быстро пьют.
А что не пить, когда дают?
А что не петь, когда уют
И не накладно?
А тут вон — баба на сносях,
Гусей некормленных косяк,

Да дело, в общем, не в гусях,
А всё неладно.

306

Тут у меня постены появились,
Я их гоню и так, и сяк — они опять.
Да в неудобном месте чирей вылез,
Пора пахать, а тут — ни сесть, ни встать.

Сосед малёночка прислал —
Он от щедрот меня позвал.
Ну, я, понятно, отказал,
А он — сначала.

Должно, литровую огрел,
Ну и, конечно, подобрел.
И я пошел — попил, поел —
Не полегчало.

И посредине этого разгула
Я пошептал на ухо жениху.
И жениха как будто ветром сдуло,
Невеста, вон, рыдает наверху.

Сосед орёт, что он — народ,
Что основной закон блюдет,
Мол, кто не ест, тот и не пьёт,
И выпил кстати.

Все сразу повскакали с мест...
Ну, тут малец с поправкой влез:
«Кто не работает — не ест,
Ты спутал, батя!»

А я сидел с засаленною трёшкой,
Чтоб завтра гнать похмелие моё,
В обнимочку с обшарпанной гармошкой, —
Меня и пригласили за неё.

Сосед другую литру съел —
И осовел, и опсовел.
Он захотел, чтоб я попел, —

Зря что ль, поили?
Меня схватили за бока
Два здоровенных паренька:
«Играй, паскуда, пой, пока
Не удавили!»

Уже дошло веселие до точки,
Уже невеста брагу пьет тайком,
И я запел про светлые денёчки,
Когда служил на почте ямщиком.

Потом у них была уха
И заливные потроха,
Потом поймали жениха
И долго били,
Потом пошли плясать в избе,
Потом дрались не по злобѣ
И все хорошее в себе
Доистребили.

А я стонал в углу болотной выпью,
Набычась, а потом и подбочась,
И думал я,— а с кем я завтра выпью
Из тех, с которыми я пью сейчас?

Наутро там всегда покой
И хлебный мякиш за щекой,
И без похмелья перепой,
Еды навалом.
Никто не лаетя в сердцах,
Собачка мается в сенцах,
И печка— в синих изразцах
И с поддувалом.

А у меня и в ясную погоду
Хмарь на душе, которая горит.
Хлебаю я колодезную воду,
Чиню гармошку, а жена корит.

Когда я отпою и отыграю,
Чем кончу я, на чем — не угадать.
Но лишь одно наверняка я знаю —
Мне будет не хотеться умирать!

Посажен на литую цепь почёта,
И звенья славы мне не по зубам...
Эй! Кто стучит в дубовые ворота
Костяшками по кованым скобам?!

Ответа нет. Но там стоят, я знаю,
Кому не так страшны цепные псы, —
И вот над изгородью замечаю
Знакомый серп отточенной косы.

...Я перетру серебряный ошейник
И золотую цепь перегрызу,
Перемахну забор, ворвусь в репейник,
Порву бока — и выбегу в грозу!

Дурацкий сон, как кистенём,
Избил нещадно.
Невнятно выглядел я в нём
И неприглядно.

Во сне я лгал и предавал,
И льстил легко я...
А я и не подозревал
В себе такое.

Ещё сжимал я кулаки
И бил с натугой,
Но мягкой кистию руки,
А не упругой.

Тускнело сновиденье, но
Опять являлось.
Смыкались веки, и оно
Возобновлялось.

Я не шагал, а семенил
На ровном бруссе,
Ни разу ногу не сменил,—
Трусил и трусил.

Я перед сильным лебезил,
Пред злобным гнулся.
И сам себе я мерзок был,
Но не проснулся.

Да это бред—я свой же стон
Слышал сквозь дрёму.
Но это мне приснился он,
А не другому.

Очнулся я и разобрал
Обрывок стона,
И с болью веки разодрал,
Но облегчённо.

И сон повис на потолке
И распластался.
Сон в руку ли? И вот в руке
Вопрос остался.

Я вымыл руки — он в спине
Холодной дрожью.
Что было правдою во сне,
Что было ложью?

Коль это сновиденье — мне
Еще везенье.
Но если было мне во сне
Ясновиденье?

Сон — отраженье мыслей дня?
Нет! Быть не может!
Но вспомню — и всего меня
Перекорёжит.

А вдруг — в костёр?! — и нет во мне
Шагнуть к костру сил.
Мне будет стыдно, как во сне,
В котором струсил.

Но скажут мне: — Пой в унисон!
Жми, что есть духу! —
И я пойму: вот это сон,
Который в руку.

Штормит весь вечер, и пока
Заплаты пенные латают
Разорванные швы леска,
Я наблюдаю свысока,
Как волны головы ломают.

И я сочувствую — слегка —
Погибшим, но издалека.

Я слышу хрип и смертный стон,
И ярость, что не уцелели.
Еще бы! Взять такой разгон,
Набраться сил, пробить заслон —
И голову сломать у цели!

И я сочувствую — слегка —
Погибшим, но издалека.

Ах, гривы белые судьбы!
Пред смертью, словно хорошея,
По зову боевой трубы
Взлетают волны на дыбы,
Ломают выгнутые шеи.

И мы сочувствуем — слегка —
Погибшим, им, издалека.

А ветер снова в гребни бьёт
И гриеы пенные ерошит.
Волна барьера не возьмёт,
Ей кто-то ноги подсечёт —
И рухнет взмыленная лошадь.

И посочувствуют — слегка —
Погибшей, ей, издалека.

Придёт и мой черёд вослед.
Мне дуют в спину, гонят к краю.
В душе предчувствие, как бред,
Что надломлю себе хребет
И тоже голову сломаю.

Мне посочувствуют — слегка —
Погибшему — издалека.

Так многие сидят в ееках
На берегах и наблюдают,
Внимательно и зорко, как
Другие рядом на камнях
Хребты и головы ломают.

Они сочувствуют — слегка —
Погибшим. Но издалека.

Но в сумерках морского дна,
В глубинах тайных, кашалотьих,
Родится и взойдёт одна
Неимоверная волна...
На берег ринется она
И наблюдающих поглотит!

Я посочувствую — слегка —
Погибшим, им, издалека.

Я бодрствую, но вещий сон мне снится.
Пилюли пью, надеюсь, что усну.
Не привыкать глотать мне горькую слюну—
Организации, инстанции и лица
Мне объявили явную войну
За то, что я нарушил тишину,
За то, что я хриплю на всю страну,
Чтоб доказать—я в колесе не спица.
За то, что мне неймётся и не спится,
За то, что в передачах заграница
Передаёт мою блатную старину,
Считая своим долгом извиниться:
— Мы сами, без согласия...

Ну и ну!

За что ещё? Быть может, за жену—
Что, мол, не мог на нашей подданной жениться?!
Что, мол, упрямо лезу в капстрану
И очень не хочу идти ко дну,
Что песню написал, и не одну,
Про то, как мы когда-то били фрица,
Про рядоеого, что на дзот валится,
А сам—ни сном ни духом про войну.
Кричат, что я у них украл луну
И что-нибудь ещё украсть не премину.
И небылицу догоняет небылица.
Не спится мне... Ну, как же мне не спиться?!
Нет! Не соплюсь! Я руку протяну
И завещание крестом перечеркну,
И сам я не забуду осениться,
И песню напишу, и не одну,
И в песне той кого-то прокляну,
Но в пояс не забуду поклониться
Всем тем, кто написал, чтоб я не смел ложиться!
Пусть чаша горькая—я их не обману.

В дорогу живо — или в гроб ложись...
Да! Выбор небогатый перед нами.
Нас обрекли на медленную жизнь,
Мы к ней для верности прикованы цепями.

И кое-кто поверил еторопях,
Поверил без оглядки, бестолково...
Но разве это жизнь — когда в цепях?
Но разве это выбор — если скован?

Коварна нам оказанная милость,
Как зелье полоумных ворожих.
Смерть от своих — за камнем притаилась,
И сзади — тоже смерть, но от чужих.

Душа застыла, тело затекло,
И мы молчим, как подставные пешки.
А в лобовое грязное стекло
Глядит и скалится позор в кривой усмешке.

А если бы оковы разломать,
Тогда бы мы и горло перегрызли
Тому, кто догадался приковать
Нас узами цепей к хвалёной жизни.

Неужто мы надеемся на что-то?
А может быть, нам цепь не по зубам?
Зачем стучимся в райские ворота
Костяшками по кованым скобам?

Нам предложили выход из войны,
Но вот какую заломили цену:
Мы к долгой жизни приговорены,
Через вину, через позор, через измену.

Но стоит ли и жизнь такой цены?
Дорога не окончена — спокойно! —
И в стороне от той, большой войны
Ещё возможно умереть достойно.

317

И рано нас равнять с болотной слизью —
Мы гнёзд себе на гнили не совьём!
Мы не умрём мучительною жизнью —
Мы лучше верной смертью оживём!

Я при жизни был рослым и стройным,
Не боялся ни слова, ни пули
И в привычные рамки не лез.
Но с тех пор, как считаюсь покойным,—
Охромил меня и согнули,
К пьедесталу прибав Ахиллес.

Не стряхнуть мне гранитного мяса
И не еытащить из постамента
Ахиллесову эту пята,
И железные рёбра каркаса
Мёртво схвачены слоем цемента—
Только судороги по хребту.

Я хвалился косою саженью:
Нате, смерти!
Я не знал, что подвергнусь суженью
После смерти.
Но в привычные рамки я всажен,—
На спор вбили,
А косою неровную сажень
Распрямили.

И с меня, когда взял я да умер,
Живо маску посмертную сняли
Расторопные члены семьи.
Я не знаю, кто их надоумил,
Только с гипса вчистую стесали
Азиатские скулы мои.

Мне такое не мнилось, не снилось,
И считал я, что мне не грозило
Оказаться всех мёртвых мертвей,
Но поверхность на слепке лоснилась,

И могильною скукой сквозило
Из беззубой улыбки моей.

Я при жизни не клал тем, кто хищный,
В пасти палец.
Подойти ко мне с меркой обычной —
Опасались.
Но по снятии мерки посмертной —
Тут же, в ванной,
Гробовщик подошел ко мне с меркой
Деревянной.

А потом, по прошествии года,
Как венец моего исправленья,
Крепко сбитый, литой монумент
При огромном скопленье народа
Открывали под бодрое пенье,
Под моё, — с намагниченных лент.

Тишина надо мной раскололась,
Из динамиков хлынули звуки,
С крыш ударил направленный свет,
Мой отчаяньем сорванный голос
Современные средства науки
Превратили в приятный фальцет.

Я немел, в покрывало упрятан, —
Все там будем!
Я орал в то же время кастратом
В уши людям!
Саван сдёрнули — как я обужен! —
Нате, смертьте!
Неужели такой я вам нужен
После смерти?

Командора шаги злы и гулки!
Я решил: как во времени оном,
Не пройтись ли по плитам, звеня? —
И шарахнулись толпы в проулки,

Когда вырвал я ногу со стоном
И осыпались камни с меня.

320

Накренился я — гол, безобразен, —
Но и падая, вылез из кожи,
Дотянулся железной клюкой,
И когда уже грохнулся наземь,
Из разодранных рупоров всё же
Прохрипел я: «Похоже — живой!»

И паденье меня и согнуло,
И сломало,
Но торчат мои острые скулы
Из металла.
Не сумел я, как было угодно —
Шито-крыто.
Я, напротив, ушел всенародно
Из гранита.

Во хмелю слегка лесом правил я.
Не устал пока, пел за здоровье.
А умел я петь песни вздорные:
— Как любил я вас, очи чёрные!..

То плелись, то неслись, то трусили рысцой,
И болотную слизь конь швырял мне в лицо.
Только я проглочу вместе с грязью слюну,
Штофу горло скручу и опять затяну:

— Очи чёрные, как любил я вас...
Но... прикончил я то, что впрок припас,
Головой тряхнул, чтоб слетела блажь,
И вокруг взглянул, и присвистнул аж!..

Лес стеной впереди — не пускает стена,
Кони прядут ушами — назад подают.
Где просвет, где прогал — не видать ни рожна.
Колют иглы меня — до костей достают.

Коренной ты мой — выручай же, брат!
Ты куда, родной, почему назад?!
Дождь, как яд с ветвей, — недобром пропах.
Пристяжной моей волк нырнул под пах.

Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза!
Ведь погибель пришла, а бежать — не поспеть!
Из колоды моей утащили туза,
Да такого туза, без которого — смерть.

Я ору волкам: — Побери вас прах!
А коней пока подгоняет страх.
Шевелю кнутом — бью кручёные
И пою притом: — Очи чёрные!

Храп, да топот, да лязг, да лихой перепляс
Бубенцы плясовую играют с дуги!
Ах! Вы, кони мои — погублю же я вас!
Выносите, друзья, выносите, враги!..

От погони той вовсе хмель иссяк.
Мы на кряж крутой — на одних осях.
В хлопьях пены мы — струи в кряж лились.
Отдышались, отхрипелись да откашлялись.

Я лошадам забитым, что не подвели,
Поклонился в копыта до самой земли.
Сбросил с воза манатки, повёл в поводу...
Спаси бог вас, лошадки, что целым иду.

Что за дом притих, погружён во мрак,
На семи лихих продувных ветрах,
Всеми окнами обратясь в овраг,
А воротами — на проезжий тракт?

Хоть устать я устал, а лошадок распряг.
— Эй! Живой кто-нибудь — выходи — помоги!
Никого — только тень промелькнула в сеньях,
Да стервятник спустился и сузил круги.

В дом заходишь, как ... все равно в кабак,
А народишко — каждый третий — враг.
Своротят скулу — гость непрошенный.
Образа в углу — и те перекошены.

И затеялся смутный, чудной разговор.
Кто-то песню стонал и гитару терзал,
А припадочный малый — придурок и вор —
Мне тайком из-под скатерти нож показал.

Кто ответит мне, что за дом такой?
Почему во тьме, как барак чумной?
Свет лампад погас, воздух вылился.
Али жить у вас разучились?

Двери настежь у вас, а душа взаперти!
Кто хозяином здесь — напоил бы вином?!
А в ответ мне: — Видать, был ты долго в пути
И людей позабыл — мы всегда так живём.

Траву кушаем, век на щавеле,
Скисли душами — опрыщавели,
Да ещё вином много тешились,
Разоряли дом — дрались, вешались...

— Я коней заморил, от волков ускакал,
Укажите мне край, где светло от лампад!
Укажите мне место, какое искал,—
Где поют, а не стонут, где пол не покат!

— О таких домах не слышали мы.
Долго жить впотьмах привыкали мы.
Испокону мы в зле да шёпоте
Под иконами в черной копоти!

И из смрада, где косо висят образа,
Я, башку очертя, гнал, забросивши кнут,
Куда кони несли да глядели глаза,
И где люди живут и как люди живут...

Сколько кануло, сколько схлынуло!
Жизнь кидала меня— не докинула.
Может, спел про вас неумело я,
Очи чёрные, скатерть белая!

Проложите, проложите
Хоть тоннель по дну реки
И без страха приходите
На вино и шашлыки,

И гитару приносите,
Подтянув на ней колки.
Но не забудьте, затупите
Ваши острые клыки!

А когда сообразите —
Все пути приводят в Рим —
Вот тогда и приходите,
Вот тогда поговорим.

Нож забросьте, камень выньте
Из-за пазухи своей,
Перебросьте, перекиньте
Вы хоть жердь через ручей!

За посев ли, за покос ли
Надо взяться — поспешать!
А прохлопав, сами после
Локти будете кусать.

Сами будете не рады,
Утром вставши: «Вот те раз!»
Все мосты через преграды
Переброшены без вас.

Так, проложите, проложите
Хоть тоннель по дну реки!
Но не забудьте, затупите
Ваши острые клыки.

Мажорный светофор

1973

326

Мажорный светофор, трёхцветье, трио,
Палитра-партитура цветонот.
Но где же он, мой «голубой период»?
Был? Не́ был? Канул иль грядёт?

Представьте, чёрный цвет невидим глазу,
Все то, что мы считаем чёрным — серо.
Мы черноты не видели ни разу —
Лишь серость пробивает атмосферу.

И ультрафиолет, и инфракрасный —
Ну, словом, все, что чересчур — не видно.
Они, как правосудье, беспристрастны,
В них все равны, прозрачны, стекловидны.

И только красный, желтый цвет бесспорен,
Зелёный тоже, зелень — в хлорофилле.
Поэтому трёхцветны светофоры
Для тех, кто пеш и кто в автомобиле.

Три этих цвета — в каждом организме,
В любом мозгу, как яркий отпечаток.
Есть, правда, отклоненье в дальтонизме,
Но дальтонизм — порок и недостаток.

Трёхцветны музы, но как будто серы,
А инфра, ультра — как всегда в загоне.
Гуляют на свободе полумеры,
И «псевдо» ходят, как воры «в законе».

Всё в трёх цветах нашло отображенье,
Лишь изредка меняется порядок.
Три цвета избавляют от броженья,
Незыблемы, как три ряда трёхрядок.

Себя от надоевшей славы спрятав
В одном из их соединенных штатов,
В глуши и в дебрях чуждых нам систем
Жил-был известный больше, чем Иуда,
Живое порожденье Голливуда —
Артист, шпион, Джеймс Бонд, агент 07.

 Был этот самый парень —
 Звезда, ни дать ни взять.
 Настолько популярен,
 Что страшно рассказать.

 Да шуточное ль дело —
 Почти что полубог.
 Известный всем Марчелло
 В сравненьи с ним — щенок.

Он на своей на загородной вилле
Скрывался, чтоб его не подловили,
И умирал от скуки и тоски.
А то, бывало, встретят у квартиры,
Набросятся — и рвут на сувениры
Последние штаны и пиджаки.

 Вот так и жил, как в клетке,
 Ну, а в кино — потел,
 Различные разведки
 Дурачил, как хотел:

 То ходит в чьей-то шкуре,
 То в пепельнице спит,
 А то на абажуре
 Кого-то соблазнит.

И вот артиста этого, Джеймс Бонда,
Товарищи из ГОСаФИЛЬМОФОНДА
В совместную картину к нам зовут.
Чтоб граждане его не узнавали,
Он к нам решил приехать в одеяле —
Мол, все равно на ключья разорвут.

Вы посудите сами:
На проводах в ЮСА
Все хиппи с волосами
Побрили волоса.

С него содрали свитер,
Отгрызли вмиг часы
И растащили плиты
Со взлетной полосы.

И вот в Москве нисходит он по трапу,
Даёт доллár носильщику на лапу
И личность прикрывает на ходу.
Вдруг кто-то — шасть на газике к агенту!
И — киноленту, вместо документу,
Что, мол, свои, мол, «хау-ду-ю-ду».

Огромная колонна
Стоит сама в себе —
Встречает чемпиона
По стендовой стрельбе.

Попал во всё, что было,
Он выстрелом с руки.
Бабьё с ума сходило
И даже мужики.

Довольный, что его не узнавали,
Он одеяло снял в «Национале»,
Но, несмотря на личность и акцент,
Его там обозвали оборванцем,
Который притворился иностранцем
И заявлял, что, дескать, он — агент.

Швейцар его — за ворот.
Решил открыться он:
— 07 — я!
— Вам межгород?
Так надо взять талон!

329

Во рту скопилась пена
И горькая слюна,
И в позе супермена
Он уселся у окна.

Но тут киношестёрки прибежали
И недоразумение замяли,
И разменяли фунты на рубли.
Уборщица ворчала: — Вот же пройда!
Подумаешь — агентишка какой-то!
У нас в десятом — принц из Сомали!

Водой наполненные горсти
Ко рту спешили поднести —
Впрок пили воду черногорцы
И жили впрок — до тридцати.

А умирать почётно было
Средь пуль и матовых клинков
И уносить с собой в могилу
Двух-трёх врагов, двух-трёх врагов.

Пока курок в ружье не стёрся,
Стреляй и с сёдел и с колен.
И в плен не брали черногорца —
Он просто не сдавался в плен.

А им прожить хотелось дó ста,
До жизни жадным — век с лихвой,
В краю, где гор и неба вдосталь,
И моря тоже — с головой.

Шесть сотен тысяч равных порций
Воды живой в одной горсти.
Но проживали черногорцы
Свой долгий век до тридцати.

И жёны их водой помянут
И прячут их детей в горах
До той поры, пока не станут
Держать оружие в руках.

Беззвучно надевали траур
И заливали очаги,
И молча лили слёзы в траву,
Чтоб не услышали враги.

Чернели женщины от горя,
Как плодородная земля.
За ними вслед чернели горы,
Себя огнём испепеля.

331

То было истинное мщенье,—
Бессмысленно себя не жгут!—
Людей и гор самосожженье,
Как несогласие и бунт.

И пять веков, как Божьи кары,
Как мести сына за отца,
Пылали горные пожары
И черногорские сердца.

Цари менялись, царедворцы,
Но смерть в бою всегда в чести—
Не уважали черногорцы
Проживших больше тридцати.

Мне одного рожденья мало,
Расти бы мне из двух корней.
Жаль, Черногория не стала
Второю родиной моей!

Небось, картошку все мы уважаем,
Когда с солью её намять!

333

К нам можно даже с семьями, с друзьями
и знакомыми.
Мы славно здесь развстимся, и скажете
потом,
Что бог, мол, с ними, с генами! Бог с ними,
с хромосомами!
Мы славно поработали и славно отдохнем.

Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные,
Ньютоны ненаглядные, любимые до слёз!
Ведь лягут в землю общую останки наши
бренные,
Земле— ей всё едино: апатиты и навоз.

Автобусом до Сходни доезжаем,
А там—рысцой, и не стонать!
Небось, картошку все мы уважаем,
Когда с солью её намять!

Так приезжайте, милые, рядами и колоннами.
Хотя вы все там химики и нет на вас креста,
Но вы же там задóхнетесь
за синхрофазотронами—
А здесь места отменные, воздушные места!

Товарищи учёные! Не сумлевайтесь, милые:
Коль что у вас не ладится— ну, там,
не тот аффект,—
Мы мигом к вам заявимся с лопатами
и вилами,
Денёчек покумекаем— и выправим дефект.

Автобусом к Тамбову подъезжаем,
А там — рысцой и не стонать!
Небось, картошку все мы уважаем,
Когда с солью её намять!

Меня ойзть учарили в озни
Зрочет серуче, словно в божке комень
Во мне живеі можливоі злобниі жлоб
С мозолестими чейкиль руками

Когда мою зометив моту
Друзья бермогут: „Снова зомутает
Ино терно с мил, мне с мил невмототу
Он кием росу влесто меня хвотосі (мототі)

Он не збойник и не старос я
Все облеменил выглудзі дурачки
И блато и кроби, дурниа кроби миа
Того не брискитес и с ружоукии
На мелодии, расейдв и іручелв
И тейоі и бодл, как криво в Бухенвалтсе

Он туді, когус законту свой вейоі
Могі ружоу вавезеті он сі рожку
Вейоіну и жогейлів и жесейоі,
И врок ірочом тудіоі и в оединоту

Я ойривуаня вавес не ишу
Пудіоі жизни тудіоі, усеколизаті, тоеі
Не в себе мновеня не ірочу
Когда моя он вургу озом ваветі

Я ойривуаня вавес не ишу
Пудіоі жизни тудіоі, усеколизаті, тоеі
Не в себе мновеня не ірочу,
Когда моя он вургу озом ваветі

И собрал оіе оейоіоік сир
Ир еж не вавезеті іривот
Слесту, в семі жесейоі ваветі
И туді жубет, тучет сродней - хітредіоір



И он мнеліа и не зоран
И туді вавес ваветі жоран
Того іоіоіа, та вавезеті
Слесту, в семі жесейоі ваветі



Енгибарову-клоуну от зрителей

1972-1974

Шут был вор, он воровал минуты,
Грустных минуты тут и там.
Грим, парик, другие атрибуты
Этот шут дарил другим шутам.

В светлом цирке, между номерами,
Незаметно, тихо, налегке
Появлялся клоун между нами
В шутовском дурацком колпаке.

Зритель наш шутами избалован.
Жаждет смеха он, потрянув мошной,
И кричит: «Да разве это клоун?
Если клоун—должен быть смешной!»

Вот и мы... Пока мы вслух ворчали:
«Вышел на арену, так смеши!»—
Он у нас тем временем печали
Вынимал тихонько из души.

Мы опять в сомненьи—век двадцатый,
Цирк у нас, конечно, мировой,—
Клоун, правда, слишком мрачноватый,
Невесёлый клоун, несмешной.

Ну, а он, как будто в воду канув,
Вдруг при свете, нагло, в две руки
Крал тоску из внутренних карманов
Наших душ, одетых в пиджаки.

Мы потом смеялись обалдело,
Хлопали, ладони раздробя.
Он смешного ничего не делал—
Горе наше брал он на себя.

Только балагуря, тараторя,
Всё грустнее становился мим,
Потому что груз чужого горя
Из упрямства он считал своим.

Тяжелы печали, ощутимы...
Шут сгибался в световом кольце,
Горше становились пантомимы,
И морщины глубже на лице.

Но тревоги наши и невзгоды
Он горстями выгребал из нас,
Нам давая видимость свободы,
А себе защиты не припас.

Мы теперь без боли хохотали,
Весело, по нашим временам:
«Ах! Как нас приятно обокрали —
Взяли то, что так мешало нам!»

Время! И, разбив себе колени,
Уходил он, думая своё.
Рыжий воцарялся на арене,
Да и за пределами её.

Злое наше вынес добрый гений
За кулисы — вот нам и смешно.
Тысячи украденных мгновений
В нём сосредоточились в одно.

В сотнях тысяч ламп погасли свечи,
Барабана дробь... и тишина.
Слишком много он взвалил на плечи
Нашего. И сломана спина.

Зрители, и люди между ними,
Думали: вот пьяница упал...
Шут в своей последней пантомиме
Заигрался — и переиграл.

Он застыл не где-то, не за морем,—
Возле нас, как бы прилёг, устав.
Первый клоун захлебнулся горем,
Просто сил своих не рассчитав.

Он не вышел ни званием, ни ростом.
 Не за славу, не за плату,
 На свой необычный манер,
Он по жизни шагал над помостом
 По канату, по канату,
 Натянutoму, как нерв.

Посмотрите,— вот он
 Без страховки идёт.
Чуть левее наклон —
 Упадёт, пропадёт,
Чуть правее наклон —
 Всё равно не спасти,
Но, должно быть, ему очень нужно пройти
 Четыре четверти пути.

И лучи его с шага сбивали,
 И кололи, словно лавры.
 Труба надрывалась, как две
Крики «браво!» его оглушали,
 А литавры, а литавры —
 Как обухом по голове.

Посмотрите,— вот он
 Без страховки идёт.
Чуть левее наклон —
 Упадёт, пропадёт,
Чуть правее наклон —
 Все равно не спасти.
Но теперь ему меньше осталось пройти —
 Уже три четверти пути.

«Ах, как жутко, как смело, как мило!
 Бой со смертью три минуты!»

Раскрыв в ожидании рты,
Из партера глядели уныло.
Лилипуты, лилипуты,—
Казалось ему с высоты.

Посмотрите,— вот он
Без страховки идёт.
Чуть правее наклон—
Упадёт, пропадёт,
Чуть левее наклон—
Все равно не спасти.
Но... спокойно,— ему остается пройти
Всего две четверти пути.

Он смеялся над славою брэнной,
Но хотел быть только первым.
Такого попробуй угробь!
Не по проволоке над ареной,
Он по нервам, нам по нервам
Шел под барабанную дробь.

Посмотрите,— вот он
Без страховки идёт.
Чуть правее наклон—
Упадёт, пропадёт,
Чуть левее наклон—
Все равно не спасти.
Но... замрите,— ему остается пройти
Не больше четверти пути.

Закричал дрессировщик, и звери
Клали лапы на носилки,
Но прост приговор и суров.
Был растерян он или уверен?!
Но в опилки, но в опилки
Он пролил досаду и кровь.

И сегодня другой
Без страховки идет.

Тонкий шнур под ногой —
Упадёт, пропадёт.

Вправо, влево наклон —
И его не спасти.

Но зачем-то ему тоже нужно пройти
Четыре четверти пути...

Я вчера закончил коеку,
Я два плана залудил,—
И а загранкомандировку
От завода угодил.

Копоть, сажу смысл под душем,
Съел холодного язя
И инструктора послушал,
Что там можно, что нельзя.

Там, у них, пока что лучше бытово.
Так чтоб я не отчебучил не того,
Он мне дал прочесть брошюру,— как наказ,
Чтоб не вздумал жить там сдуру как у нас.

Говорил со мной, как с братом,
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
В польский город Будапешт:

«Там, у них, уклад особый,—
Нам—так сразу не понять.
Ты уж их, браток, попробуй
Хоть немного уважать.

Будут с водкою дебаты—отаечай:
«Нет, ребята-демократы! Только чай».
От подарков их сурово отвернись,—
«У самих добра такого—завались».

Он сказал: «Живя в комфорте—
Экономь, но не дури.
И, гляди, не выкинь фортель,
С сухомятки не помри!

В этом чешском Будапеште —
Уж такие времена.
Может, скажут «пейте-ешьте»,
Ну, а может, — ни хрена».

Ох, я в Венгрии на рынок схожу,
На немецких на румынок погляжу!
«Демократки, — уверяли кореша, —
Не берут с советских граждан ни гроша».

«Буржуазная зараза
Всюду ходит по лятам.
Опасайся пуще глаза
Ты внебрачных связей там.

Там шпионки с крепким телом.
Ты их в дверь — они в окно!
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно.

Могут действовать они не прямиком:
Шасть в купе — и притворится мужиком,
А сама наложит тола под корсет.
Проверяй, какого пола теой сосед!»

Тут давай его пытаться я:
«Опасаясь — маху дам!
Как проверить — лезть под платье?
Так схлопочешь по мордам...»

Но инструктор — паренёк дока,
Деловой — попробуй срежь!
И опять пошла морока
Про коварный зарубеж.

Популярно объясняю для невежд:
Я к болгарам уезжаю — в Будапешт.
Если темы там возникнут — сразу снять.
Бить не нужно, а не вникнут — разъяснить!

Я ж по-ихнему ни слова,
Ни в дугу и ни в тую!
Молот мне — дак я любого
В своего перекую.

Но ведь я не агитатор,
Я — потомственный кузнец.
Я к полякам в Улан-Батор
Не поеду, наконец.

Сплю с женой, а мне не спится: «Дусь, а Дусь...
Может, я без заграницы обойдусь?
Я ж не ихнего замеса — я сбегу,
Я на ихнем ни бельмеса, ни гугу!»

Дуся дремлет, как ребенок,
Накрутивши бигуди.
Отвечает мне спросонок:
«Знаешь, Коля, — не зуди.

Что ты, Коля, больно робок?
Я с тобою разведусь.
Двадцать лет живем бок о бок —
И всё время «Дусь, а Дусь...»

Обещал, — забыл ты, нешто? Ох, хорош!.. —
Что клеенку с Бангладешта привезёшь.
Сбереги там пару рупий, не бузи.
Мне хоть чё! — хоть черта в ступе привези».

Я уснул, обняв супругу,
Дусю нежную мою.
Снилось мне, что я кольчугу,
Щит и меч себе кую.

Там у них другие мерки,
Не поймешь — съедят живьём...
И всё снились мне венгерки
С бородами и с ружьём.

Снились Дусины клеёнки цвета беж
И нахальные шпие́нки в Бангладеш,—
Поживу я, воля божья, у румын.
Говорят, они с Поволжья,—как и мы.

Я только малость объясню в стихе,
На всё я не имею полномочий...
Я был зачат, как нужно, во грехе,—
В поту и в нервах первой брачной ночи.

Я знал, что, отрываясь от земли —
Чем выше мы, тем жёстче и суровей.
Я шёл спокойно прямо в короли
И вёл себя наследным принцем крови.

Я знал — всё будет так, как я хочу.
Я не быеал внакладе и в уроне.
Мои друзья по школе и мечу
Служили мне, как их отцы — короне.

Не думал я над тем, что говорю,
И с легкостью слова бросал на ветер,
Мне верили и так, как главарю,
Все высокопоставленные дети.

Пугались нас ночные сторожа,
Как оспую, болело время нами.
Я спал на кожах, мясо ел с ножа
И злую лошадь мучил стремями.

Я знал, мне будет сказано: «Царуй!» —
Клеймо на лбу мне рок с рожденья выжег,
И я пьянел среди чеканных сбруй,
Был терпелив к насилью слов и книжек.

Я улыбаться мог одним лишь ртом,
А тайный взгляд, когда он зол и горек,
Умел скрывать, воспитанный шутлом.
Шут мертв теперь: «Аминь!» Бедняга Йорик!

Но отказался я от дележа
Наград, добычи, славы, привилегий.
Вдруг стало жаль мне мертвого пажа,
Я объезжал зеленые побеги,

Я позабыл охотничий азарт,
Возненавидел и борзых, и гончих.
Я от подранка гнал коня назад
И плетью бил загонщиков и ловчих.

Я видел — наши игры с каждым днём
Всё больше походили на бесчинства.
В проточных водах, по ночам, тайком
Я отмыался от дневного свинства.

Я прозревал, глупея с каждым днём,
Я прозевал домашние интриги.
Не нравился мне век, и люди в нем
Не нравились. И я зарылся в книги.

Мой мозг, до знаний жадный как паук,
Всё постигал: неподвижность и движенье,
Но толка нет от мыслей и наук,
Когда повсюду им опроверженье.

С друзьями детства перетёрлась нить,
Нить Ариадны оказалась схемой.
Я бился над словами «быть, не быть»,
Как над неразрешимой дилеммой.

Но вечно, вечно плещет море бед.
В него мы стрелы мечем — в сито просо,
Отсеивая призрачный ответ
От вычурного зтого вопроса.

Зов предков слыша сквозь затихший гул,
Пошел на зов, — сомненья крались с тылу,
Груз тяжких дум наверх меня тянул,
А крылья плоти вниз влекли, в могилу.

В непрочный сплав меня спаяли дни —
Едва застыв, он начал расползаться.
Я пролил кровь, как все, и, как они,
Я не сумел от мести отказаться.

А мой подъём пред смертью — есть провал.
Офелия! Я тленья не приемлю.
Но я себя убийством уравниал
С тем, с кем я лёг в одну и ту же землю.

Я Гамлет, я насилье презирал,
Я наплевал на Датскую корону,
Но в их глазах — за трон я глотку рвал
И убивал соперника по трону.

Но гениальный всплеск похож на бред,
В рожденье смерть проглядывает косо.
А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса.

На дистанции — четвёрка первачей.
Каждый думает, что он-то побойчей,
Каждый думает, что меньше всех устал,
Каждый хочет на высокий пьедестал.

Кто-то кровью холодней, кто — горячей,
Все наслушались напутственных речей,
Каждый съел примерно поровну харчей,
Но судья не зафиксирует ничьей.

И борьба на всём пути,
В общем, равная почти:
— «Расскажите, как идут,
Бога ради, а?
Телевидение тут
Вместе с радио.
— Нет особых новостей —
Всё равнёхонько,
Но зато накал страстей —
О-хо-хо какой!

Номер первый рвёт подмётки как герой,
Как под гору катит, — хочет под горой
Он в победном ореоле и в пылу
Твёрдой поступью приблизиться к котлу.

Почему высоких мыслей не имел? —
Потому что в детстве мало каши ел, —
Голодал он в этом детстве, не дерзал,
Успевал переодеться — и в спортзал.

Что ж, идеи нам близки:
Первым — лучшие куски,

А вторым, чего уж тут,—
Он всё выверил—
В утешение дадут
Кости с ливером.

Номер два—далёк от плоских тех утех,—
Он из этих, он из сытых, он из тех,
Он надеется на славу, на успех,
А уж ноги задирает—выше всех!

Вот—наклон на вираже—бетон у щёк!
Краше некуда уже, а он—ещё!
Он стратег, он даже тактик, словом, «спец»!
Сила, аоля плюс характер!—Молодец!

Чётко, собран, напряжён
И не лезет на рожон!
Этот будет выступать
На Салониках
И детишек поучать
В кинохрониках,
И соперничать с Пеле
В закалённости,
И являть пример целе-
Устремлённости.

Номер третий—убелён и умудрён,
Он всегда второй—надёжный эшелон,
Вероятно, кто-то в первом заболел,
Ну, а может, его тренер пожалел.

И назойливо в ушах звенит струна:
«У тебя последний шанс, зх, старина!»
Он в азарте как мальчишка, как шпана.
Нужен спурт—иначе крышка и хана!

Переходит сразу он
В задний старенький вагон,

Где бывшие имена —
Предынфарктные,
Где местам одна цена —
Все плацкартные.

351

А четвёртый — тот, что крайний, боковой, —
Так бежит — ни для чего, ни для кого,
То приблизится — мол, пятки оттопчу,
То отстанет, постоит — мол, так хочу...
(Не проглотит первый лакомый кусок,
Не надеть второму лавровый венок,

Ну, а третьему — ползти
На запасные пути.)
...Сколько всё-таки систем
В беге нынешнем:
Он вдруг взял да сбавил темп
Перед финишем,
Майку сбросил — вот те на! —
Не противно ли?
Поведенье бегуна —
Не спортивное.

На дистанции — четвёрка первачей
Злых и добрых, бескорыстных и рвачей,
Кто из них что исповедует, кто чей?
Отделяются лопатки от плечей. —
И летит уже четверка первачей.

Кто-то высмотрел плод, что неспел,
Потрусили за ствол — он упал.
Вот вам песня о том, кто не спел
И что голос имел — не узнал.

Может, были с судьбой нелады,
И со случаем плохи дела,
А тугая струна на лады
С незаметным изъяном легла.

Он начал робко — с ноты «до»,
Но недопел её, не до...

Не дозвучал его аккорд
И никого не вдохновил.
Собака лаяла, а кот
Мышей ловил.

Смешно, не правда ли, — смешно?
А он шутил — недошутил,
Недораспробовал вино,
И даже недопригубил.

Он пока лишь затеивал спор,
Неуверенно и неспеша,
Словно капельки пота из пор,
Из-под кожи сочилась душа.

Только начал дуэль на ковре,
Еле-еле, едва приступил.
Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре,
И судья ещё счет не открыл.

Он знать хотел всё от и до,
Но не добрался он, не до...

353

Ни до догадки, ни до дна,
Не докопался до глубин,
И ту, которая одна,
Недолюбил.

Смешно, не правда ли, смешно,
Что он спешил — недоспешил?
Осталось недорешено
Все то, что он недорешил.

Ни единою буквой не лгу.
Он был чистого слога слуга,
Он писал ей стихи на снегу, —
К сожалению, тают снега.

Но тогда ещё был снегопад
И свобода писать на снегу.
И большие снежинки, и град
Он губами хватал на бегу.

Но к ней в серебряном ландо
Он не добрался и не до...

Не добежал, бегун-беглец,
Не долетел, не доскакал,
А звёздный знак его — Телец —
Холодный Млечный Путь лакал.

Смешно, не правда ли, смешно,
Когда секунд недостаёт, —
Недостающее звено —
И недолёт, и недолёт?

Смешно, не правда ли? Ну, вот, —
И вам смешно и даже мне.
Конь на скаку и птица влёт, —
По чьей вине, по чьей вине?

- 1974 -

Сначала было слово печали и тоски.
Рождалась в муках творчества планета.
Рвались от суши в никуда огромные куски
И островами становились где-то.

И, странствуя по свету без фрахта и без флага,
Сквозь миллионолетья, эпохи и века,
Менял свой облик остров,— отшельник
и бродяга,
Но сохранял природу и дух материка.

Сначала было слово, но кончились слова.
Уже матросы землю населяли.
И ринулись они по сходням вверх
на острова,
Для простоты назвав их кораблями.

Но цепко держит берег,— надёжней мёртвой
хватки,
И острова вернутся назад наверняка.
На них царят морские особые порядки,
На них хранят законы и честь материка.

Простит ли нас наука за эту параллель,
За вольность в толковании теорий?
И если уж сначала было слово на земле,
То это, безусловно, слово — «море».

Как по Волге-матушке, по реке-кормилице,
Всё суда с товарами, струги да ладьи.
И не надорвалась, и не притомилася:
Ноша не тяжёлая — корабли свои.

Вниз по Волге плавая,
Прохожу пороги я,
И гляжу на правые
Берега пологие.

Там камыш шевелится,
Поперёк ломается,
Справа берег стелется,
Слева — поднимается.

Волга песни слышала хлеще, чем «Дубинушка»,
В ней вода исхлѣстана пулями врагов.
И плыла по матушке наша кровь-кровинушка,
Стыла бурой пеною возле берегов.

Долго в воды пресные
Лили слезы строгие
Берега отвесные,
Берега пологие,

Плакали, измызганы
Острыми подковами,
Но теперь зализаны
Злые раны волнами.

Что-то с вами сделалось, города старинные?
Там, где стены древние, церкви да кремли,
Словно пробудились молодцы былинные
И, числом несметные, встали из земли.

Лапами грабастая,
Корабли стараются,
Тянут баржи с Каспия,
Тянут, надрываются,

Тянут, не оглянутся,
И на вёрсты многие
За крутыми тянутся
Берега пологие.



Баллада о детстве

1973-1975

351

Час зачатья я помню неточно.
Значит, память моя — однобока.
Но зачат я был ночью — порочно
И явился на свет не до срока.

Я рождался не в муках, не в злобе —
Девять месяцев, это не лет...
Первый срок отбывал я в утробе.
Ничего там хорошего нет.

Спасибо аам, святители,
Что плюнули да дунули,
Что вдруг мои родители
Зачать меня задумали

В те времена укромные,
Теперь почти былинные,
Когда срока огромные
Брели в этапы длинные.

Их брали в ночь зачатия,
А многих даже ранее.
А вот живет же братия,
Моя честна́ компания.

Ходу! Думушки резвые, ходу!
Слова, строченьки милые, слова!
В первый раз получил я свободу
По указу от тридцать восьмого.

Знать бы мне, кто так долго мурыжил —
Отыгрался бы на подлеце!
Но родился, и жил я, и выжил —
Дом на Первой Мещанской, в конце.

Там за стенкой, за стеночкою,
За перегородочкой
Соседушка с соседочкою
Баловались водочкой.

Все жили вровень, скромно так,
Система коридорная,
На тридцать восемь комнаток
Всего одна уборная.

Здесь на́ зуб зуб не попадал,
Не грела телогреечка,
Здесь я доподлинно узнал,
Почем она, копеечка.

Не боялась сирены соседка,
И привыкла к ней мать понемногу.
И плевал я — здоровый трёхлетка,
На воздушную эту тревогу.

Да, не всё то, что сверху — от Бога.
И народ зажигалки тушил,
И как малая фронту подмога —
Мой песок и дырявый кувшин.

И било солнце в три луча,
Сквозь дыры крыш просеяно,
На Евдоким Кирилыча
И Гисю Моисеевну.

Она ему: — Как сыновья?
— Да без вести пропавшие!
Эх, Гиська, мы одна семья,
Вы — тоже пострадавшие.

Вы тоже пострадавшие,
А значит, обрусевшие,
Мои — без вести павшие,
Твои — безвинно севшие.

Я ушёл от пелёнок и сосок,
Поживал, не забыт, не заброшен.
И дразнили меня — недоносок,
Хоть и был я нормально доношен.

Маскировку пытался срывать я.
— Пленных гонят! Чего ж мы дрожим?
Возвращались отцы наши, братья
По домам. По своим да чужим.

У тети Зины кофточка
С драконами да змеями —
То у Попова Вовчика
Отец пришел с трофеями.

Трофейная Япония,
Трофейная Германия.
Пришла страна Лимония,
Сплошная Чемодания.

Взял у отца на станции
Погоны, словно цацки, я.
А из эвакуации
Толпой валили штатские.

Осмотрелись они, оклемались.
Похмелились — потом протрезвели.
И отплакали те, что дождались,
Недождавшиеся — отревели.

Стал метро рыть отец Витькин с Генкой,
Мы спросили: — Зачем? — он в ответ:
— Коридоры кончаются стенкой,
А тоннели выводят на свет.

Пророчество папино
Не слушал Витька с корешом.
Из коридора нашего
В тюремный коридор ушёл.

Да он всегда был спорщиком,
Припрут к стене — откажется.
Прошёл он коридорчиком
И кончил стенкой, кажется.

Но у отцов свои умы,
А что до нас касательно —
На жизнь засматривались мы
Уже самостоятельно.

Все, от нас до почти годовалых,
Толковище вели до кровянки.
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.

Не досталось им даже по пуле —
В ремеслухе живи да тужи.
Ни дерзнуть, ни рискнуть — но рискнули
Из напильников делать ножи.

Они воткнутся в лёгкие,
От никотина чёрные,
По рукоятки лёгкие,
Трёхцветные, наборные.

Вели дела обменные
Сопливые острожники.
На стройке немцы пленные
На хлеб меняли ножики.

Сперва играли в фантики,
В пристенок с крохоборами.
И вот ушли романтики
Из подворотен ворами...

Было время — и были подвалы.
Было дело — и цены снижали.
И текли куда надо каналы,
И в конце куда надо впадали.

Дети бывших старшин да майоров
До ледовых широт поднялись,
Потому что из тех коридоров
Вниз сподручней им было, чем ввысь.

Всю войну под завязку
я всё к дому тянулся
И, хотя горячился,—
воевал делово.
Ну, а он торопился,
как-то раз не пригнулся
И в войне взад-вперёд обвнулся—
за два года — всего-ничего.

Не слышать его пульса
С сорок трвтьей ввсны.
Ну, а я окунулся
В довоенны в сны.
И гляжу я, дурея,
Но дышу тяжело...
Он был лучшв, добрее,
Ну, а мнв повезло.

Я за пазухой нé жил,
нв пил с Господом чая,
Я ни в тыл нв стремился,
ни судьбв под подол,
Но мне женщины молча
намвкают, встречая:
Если б ты там навеки остался,
может, мой бы обратно пришёл?!

Для меня нв загадка
Их печальный вопрос.
Мне ведь тоже не сладко,
Что у них не сбылось.

Мне ответ подвернулся:
«Извините, что цел!

Я случайно вернулся,
Ну, а ваш — не сумел».

364

Он кричал напоследок,
в самолёте сгорая:
«Ты живи! Ты дотянешь!» —
доносилось сквозь гул.
Мы летали под Богом
возле самого рая.
Он поднялся чуть выше и сел там,
ну, а я до земли дотянул.

Встретил летчика сухо
Райский аэродром.
Он сажился на брюхо,
Но не ползал на нём.

Он уснул — не проснулся,
Он запел — не допел.
Так что я, вот, вернулся,
Ну, а он не сумел.

Я кругом и навечно виноват перед теми,
С кем сегодня встречаться я почёл бы за честь.
И хотя мы живыми до конца долетели,
Жгут нас память и совесть, у кого они есть.

Кто-то скупно и чётко
Отсчитал нам часы
Нашей жизни короткой,
Как бетон полосы.

И на ней — кто разбился,
Кто — взлетел навсегда...
Ну, а я приземлился Вот какая беда.

Как во смутной волости
Лютой, злой губернии,
Выпадали молодцу
Всё шипы да тернии.

Он обиды зачерпнул, зачерпнул
Полные пригоршни,
Ну, а горе, что хлебнул,—
Не бывает горше.

Пей отраву, хоть залейся!
Благо, денег не берут.
Сколь верёвочка ни вейся—
Всё равно совьёшься в кнут.

Гонит неудачников
По́ миру с котомкою.
Жизнь текёт меж пальчиков
Паутинкой тонкою.

А которых повело, повлекло
По лихой дороге—
Тех ветрами сволокло
Прямиком в остроги.

Тут на милость не надейся—
Стиснуть зубы да терпеть!
Сколь верёвочка ни вейся—
Всё равно совьёшься в плеть!

Ох, родная сторона,
Сколь в тебе ни рыскаю,
Лобным местом ты красна
Да верёвкой склизкою...

А повешенным сам дьявол-сатана
Голы пятки лижет.
Смех-досада, мать честна!—
Ни пожить, ни выжить!

Ты не вой, не плачь, а смейся—
Слёз-то нынче не простят.
Сколь верёвочка ни вейся—
Всё равно укоротят!

Ночью думы муторней.
Плотники не мешкают.
Не успеть к заутрене—
Больно рано вешают.

Ты об этом не жалеи, не жалеи,—
Что тебе отсрочка?
На верёвочке твоей
Нет ни узелочка.

Лучше ляг да обогрейся—
Я, мол, казни не просплю...
Сколь верёвочка ни вейся—
А совьёшься ты в петлю!

1975

Как засмотрится мне нынче, как задышится?
Воздух крут перед грозой — крут да вязок.
Что споётся мне сегодня, что услышится?
Птицы вещие поют — да всё из сказок!

Птица Сирин мне радостно скалится,
Веселит, зазывает из гнёзд.
А напротив — тоскует, печалится,
Травит душу чудной Алконост.

Словно семь заветных струн
Зазвенели в свой черёд —
Это птица Гамаюн
Надежду подаёт!

В синем небе, колокольнями проколотом, —
Медный колокол, медный колокол
То ль возрадовался, то ли осерчал.
Купола в России кроют чистым золотом,
Чтобы чаще Господь замечал.

Я стою, как перед вечною загадкой,
Пред великою да сказочной страной,
Перед солоно- да горько-кисло-сладкою,
Голубою, родниковою, ржаною.

Грязью чавкая, жирной да ржавою,
Вязнут лошади по стремяна —
Но влекут меня сонной державою,
Что раскисла, опухла от сна.

Словно семь богатых лун
На пути моём встаёт —

То мне птица Гамаюн
Надежду подаёт!

368

Душу сбитую утратами да тратами,
Душу стёртую перекатами —
Если дó крови лоскут истончал, —
Залатаю золотыми я заплатами,
Чтобы чаще Господь замечал...

Когда вода Всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На сушу тихо выбралась Любовь
И растворилась в воздухе до срока,
А срока было — сорок сороков.

И чудачки — ещё такие есть —
Вдыхают полной грудью эту смесь
И ни наград не ждут, ни наказанья,
И, думая, что дышат просто так,
Они внезапно попадают в такт
Такого же неровного дыханья.

Только чувству, словно кораблю,
Долго оставаться на плаву,
Прежде, чем узнать, что «я люблю» —
То же, что «дышу» или «живу».

И вдоволь будет странствий и скитаний.
Страна Любви — великая страна,
И с рыцарей своих для испытаний
Всё строже станет спрашивать она,
Потребуется разлук и расстояний,
Лишит покоя, отдыха и сна.

Но вспять безумцев не поворотить,
Они уже согласны заплатить
Любой ценой — и жизнью бы рискнули, —
Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить
Волшебную невидимую нить,
Которую меж ними протянули.

Свежий ветер избранных пьянил,
С ног сбивал, из мёртвых воскрешал,
Потому что, если не любил—
Значит, и не жил, и не дышал!

Но многих, захлебнувшихся любовью,
Не докричишься, сколько ни зови.
Им счёт ведут молва и пустословье,
Но этот счёт замешан на крови.
А мы поставим свечи в изголовье
Погибших от невиданной любви.

Их голосам—всегда сливаться в такт,
И душам их дано бродить в цветах,
И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться—со вздохом на устах—
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрёстках мирозданья.

Я поля влюблённым постелю—
Пусть поют во сне и наяву!
Я дышу—и, значит, я люблю!
Я люблю—и, значит, я живу!

— Ой! Вань! Смотри, какие клоуны!
Рот—хоть завязочки пришей...
Ой! До чего, Вань, размалёваны,
А голос, как у алкашей.

А тот похож—нет, правда, Вань,
На шурина,—такая ж пьянь.
Ну, нет,—ты глянь, нет-нет,—ты глянь,
Я,—правда,—Вань.

— Послушай, Зин, не трогай шурина,—
Какой ни есть, а он—родня.
Сама намазана, прокурена,
Гляди, дождёшься у меня!

А чем болтать, взяла бы, Зин,
В антракт сгоняла в магазин.
Что? Не пойдёшь? Ну,—я один.
Подвинься, Зин!

— Ой! Вань! Смотри, какие карлики!—
В «жерси» одеты, не в шевьёт...
На нашей пятой швейной фабрике
Такое вряд ли кто пошьёт!..

А у тебя, ей-богу, Вань,
Ну, все друзья—такая рвань,
И пьют всегда в такую рань
Такую дрянь.

— Мои друзья хоть не в «болонии»,
Зато не тащат из семьи,
А гадость пьют из экономии,
Хоть поутру, да на свои.

А у тебя самой-то, Зин,
Приятель был с завода шин,
Так тот вообще хлебал бензин,
Ты вспомни, Зин!

— Ой, Вань, гляди-ка, попугайчики!
Нет! Я, ей-богу, закричу.
А это кто— в короткой маечке?
Я, Вань, такую же хочу.

В конце квартала, правда, Вань,
Ты мне такую же сваргань.
Ну, что «отстань», всегда «отстань?»
Обидно, Вань.

— Уж ты бы лучше помолчала бы.
Накрылась премия в квартал.
Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты? Да я же их читал.

К тому же, эту майку, Зин,
Тебе напяль— позор один,
Тебе шитья пойдёт аршин,—
Где деньги, Зин?

— Ой! Вань! Умру от акробатиков!
Смотри! Как вертится, нахал!
Завцеха наш, товарищ Сатиков,
Недавно в клубе так скакал.

А ты придёшь домой, Иван,
Поешь— и сразу на диван,
Или кричишь, когда не пьян.
Ты что, Иван?

— Ты, Зин, на грубость нарываешься!
Всё, Зин, обидеть норовишь!
Тут за день так накувыркаешься,
Придёшь домой— там ты сидишь!

Ну, и меня, конечно, Зин,
Всё время тянет в магазин,
А там друзья, ведь я же, Зин,
Не пью один.

Серенада соловья-разбойника

1975

374

Выходи, я тебе посвищу серенаду!
Кто тебе серенаду ещё посвистит?
Сутки кряду могу до упаду,
Если Муза меня посетит.

Я пока ещё только шутю и шалю,
Я пока на себя не похож.
Я обиду терплю, но когда я вспылю —
Я дворец подпилю, подпалю, развалю,
Если ты на балкон не придёшь!

Ты отвечай мне прямо, откровенно,
Разбойничью душу не трави.
О, выйди, выйди, выйди, Аграфена!
Послушай серенаду о любви!

Ей-ей-ей, трали-вали,
Кабы красна-девица жила бы во подвале,
Я б тогда на корточки
Приседал у форточки —
Мы бы до утра проворковали!

Во лесных кладовых моих уйма товара —
Два уютных дупла, три пенёчка гнилых.
Чем же я тебе, Груня, не пара?
Чем я, Феня, тебе не жених?

Так тебя я люблю, что ночами не сплю,
Сохну с горя у всех на виду.
Вон и голос сорвал, и хриплю, и сиплю...
Ох, я дров нарублю, я себя погублю,
Но тебя украду, уведу!

Я женихов твоих — через колено,
Я папе твоему попорчу кровь.
О, выйди, выйди, выйди, Аграфена!
О, не губи разбойничью любовь!

Ей-ей-ей, трали-вали,
Кабы красна-девица жила бы во подвале,
Я б тогда на корточки
Приседал у форточки —
Мы бы до утра проворковали!

Песня попугая

1975

376

Послушайте все! О-го-го! Э-ге-гей!—
Меня—попугая, пирата морей.

Родился я в тыща-каком-то году
В бананно-лиановой чаще.
Мой папа был папапугай какаду,
Тогда ещё не говорящий.

Но вскоре покинул я девственный лес—
Взял в плен меня страшный Фернандо Кортес.
Он начал на бедного папу кричать,
А папа Фернанде не мог отвечать.
Не мог, не умел отвечать.

И, чтоб отомстить, от зари до зари
Учил я три слова, всего только три.
Упрямо себя заставлял—повтори:
— Кар-рамба! Корр-рида!! И чёрррт побери!!!

Послушайте все! О-го-го! Э-ге-гей!—
Рассказ попугая, пирата морей!

Нас шторм на обратной дороге застиг,
Мне было особенно трудно.
Английский фрегат под названием «бриг»
Взял на абордаж наше судно.

Был бой рукопашный три ночи, два дня,
И злые пираты пленили меня.
Так начал я плавать на разных судах
В районе экватора, в северных льдах...
На разных пиратских судах.

Давали мне кофе, какао, еду,
Чтоб я их приветствовал:— Хау ду ю ду!
Но я повторял от зари до зари:
— Кар-рамба! Корр-рида!! И чёрррт побери!!!

Послушайте все! О-го-го! Э-ге-гей!—
Меня—попугая, пирата морей!

Лет сто я проплавал пиратом, и что ж?
Какой-то матросик пропащий
Продал меня в рабство за ломаный грош,
А я уже был говорящий.

Турецкий пашá нож сломал пополам,
Когда я сказал ему:— Паша, салам!
И просто кондрашкахватила пашу,
Когда он узнал, что еще я пишу,
Считаю, пою и пляшу.

Я Индию видел, Иран и Ирак.
Я—инди-и-видум, не попка-дурак.
Так думают только одни дикари!
Кар-рамба! Корр-рида!! И чёрррт побери!!!

Песня об обиженном времени

1975

378

Приподнимем занавес за краешек:
Такая старая, тяжелая кулиса!
Вот какое Время было раньше,
Такое ровное — взгляни, Алиса!

Но... плохо за часами наблюдали
Счастливые,
И нарочно Время замедляли
Трусливые,
Торопили Время, понукали
Крикливые,
Без причины Время убивали
Ленивые.

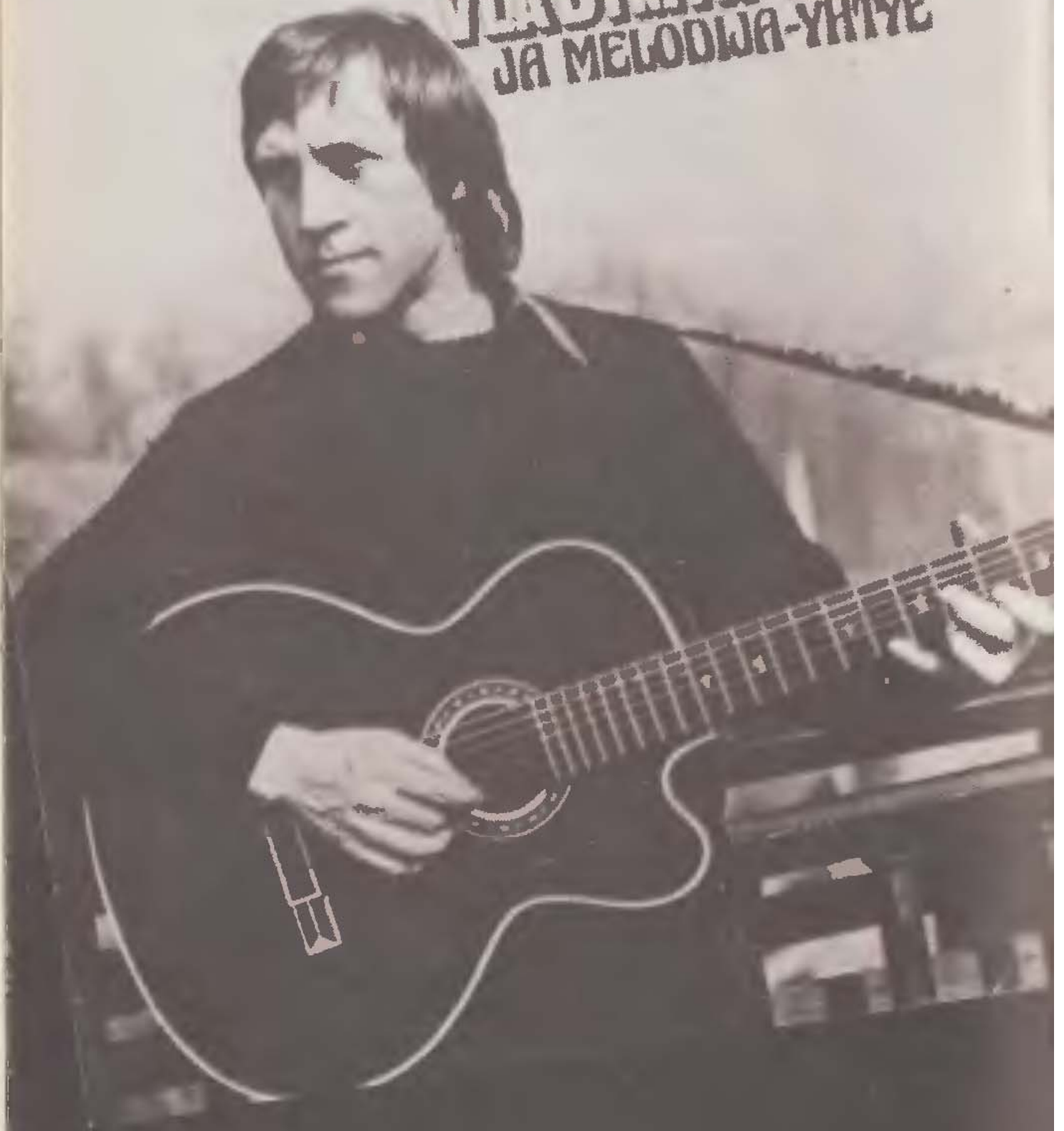
И колёса Времени
Стачивались в трении,—
Всё на свете портится от тренья...
И тогда обиделось Время,
И застыли маятники Времени.

И двенадцать в полночь не пробило,
Все ждали полдня, но опять не дождались.
Вот какое время наступило —
Такое нервное — взгляни, Алиса!

И... на часы испуганно взглянули
Счастливые,
Жалобные песни затянули
Трусливые,
Рты свои огромные заткнули
Болтливые,
Хором зазевали и заснули
Ленивые.

Смажь колёса Времени —
Не для первой премии —
Ему ведь очень больно от тренья.
Обижать не следует Время.
Плохо и тоскливо жить без Времени.

MUSTAA KULTAA
VLADIMIR VISOVA
JA MELODIA-YHTYE



Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
 К телевизору рвалась,
Вместо, чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,—
Вся безумная больница
 У экрана собралась.

Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.

Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл.
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол.

Уважаемый редактор!
Может, лучше про реактор?
Про любимый лунный трактор?..
 Ведь нельзя же!— Хоть кричи!—
То тарелками пугают,
Дескать, подлые, летают —

То зазря людей кромсают
 Филиппинские врачи.

Мы кой в чём поднаторели,—
Мы тарелки бьём весь год.
Мы на них собаку съели,
Если повар нам не врёт.

А медикаментов груды —
В унитаз, кто не дурак.
Это жизнь! И вдруг — Бермуды.
Вот те раз! Нельзя же так!

Мы не сделали скандала —
Нам вождя недоставало.
Настоящих буйных мало,
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни, —
Не испортят нам обедни
Злые происки врагов!

Это их худые черти
Бермутят воду во пруду.
Это всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году!

Мы про взрывы, про пожары
Сочиняли ноту ТАСС,
Но примчались санитары,
Зафиксировали нас.

Тех, кто был особо боек,
Прикрутили к спинкам коек.
Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше:
«Развяжите полотенцы,
Иноверы, изуверцы!
Нам бермудорно на сердце
И бермутно на душе».

Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела.
Во как сильно беспокоят
Треугольные дела!

Все почти с ума свихнулись,
Даже — кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.

Вон он, змей, в окне маячит,
За спиною штепсель прячет,
Подав знак кому-то — значит,
Фельдшер вырвет провода.
Нам осталось уколотся
И упасть на дно колодца,
И пропасть на дне колодца,
Как в Бермудах — навсегда.

Ну, а завтра спросят дети,
Навещая нас с утра:
«Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора?»

Мы откроем нашим чадам
Правду, им не всё равно:
Удивительное — рядом,
Но оно — запрещено.

Вон дантист-надомник Рудик.
У него приемник «Грюндиг», —
Он его ночами крутит,
Ловит, контра, ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам —
И подвинулся рассудком, —
К нам попал в волненье жутком,
С растревоженным желудком,
С номерочком на ноге.

Взволновал нас Рудик крайне —
Сообщением потряс,
Будто наш научный лайнер
В треугольнике погряз,

Сгинул, топливо истратив,
Весь распался на куски.
Двух безумных наших братьев
Подобрали рыбаки.

Те, кто выжил в катаклизме,
Пребывают в пессимизме.
Их вчера в стеклянной призме
К нам в больницу привезли.
И один из них, механик,
Рассказал, сбежав от няnek,
Что Бермудский многогранник —
Незакрытый пуп земли.

«Что там было? Как ты спасся?»
Каждый лез и приставал.
Но механик только трясся
И чинарики стрелял.

Он то плакал, то смеялся,
То щетинился, как ёж.
Он над нами издевался.
Сумасшедший — что возьмёшь?!

Взвился бывший алкоголик,
Матершинник и крамольник:
«Надо выпить треугольник!
На троих его — даёшь!»
Разошёлся — так и сыпет:
«Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрёна вошь!»

Больно бьют по нашим душам
«Голоса» за тыщи миль.
Зря «Америку» не глушим,
Зря не давим «Израиль»!

Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят —
Кормят-поят нас бермутью
Про таинственный квадрат.

385

Лекторá из передачи!
Тв, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ, —
Нас берите — обречённых, —
Треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишённых,
Ну, а нас — наоборот.

Пусть безумная идея —
Не рубите сгоряча,
Вызывайте нас скорее
Через доку главврача.

С уваженьем. Дата. Подпись.
Отвечайте нам! А то —
Если вы не отзовётесь —
Мы напишем в «Спортлото».

Мы все живем как будто, но не будоражат
наш давно
Ни паровозные свистки, ни пароходные гудки.
Иные — те, кому дано, — стремятся вглубь
и видят дно,
Но — как навозные жуки и мелководные мальки.

А рядом случаи летают, словно пули,
Шальные, запоздалые, слепые, на излёте.
Одни под них подставиться рискнули,
И сразу — кто в могиле, кто в почёте.

Другие — не заметили, а мы —
так увернулись:
Нарочно ль, по примете ли —
на правую споткнулись.

Средь суеты и кутерьмы, ах, как давно мы
не прямые!
То гнёмся бить поклоны впрок, а то —
завязывать шнурок.
Стремимся вдаль проникнуть мы, но даже
светлые умы
Всё излагают между строк — у них расчёт
на долгий срок.

Стремимся мы подняться ввысь, ведь думы наши
поднялись,
И там парят они, легки, свободны, вечны,
высоки.
И так нам захотелось ввысь, что мы вчера
перепились,
И, горьким думам вопреки, мы ели сладкие
куски.

Много во мне маминого,
Папино — сокрыто,
Я из века каменного,
Из палеолита.

Но по многим отзываю —
Я умный и не злой,
То есть в веке бронзовом
Стою одной ногой.

Наше племя ропщет, смея
Вслух ругать порядки.
В первобытном обществе я
Вижу недостатки.

Просто вопиющие! —
Довлеют и грозят, —
Далеко идущие,
На тыщу лет назад.

Между поколениями
Ссоры возникают,
Жертвоприношениями
Злоупотребляют.

Ходишь — озираешься,
Ловишь каждый взгляд.
Малость зазеваешься —
Уже тебя едят.

Собралась, умывшись чисто,
Во поле элита.
Думали, как выйти из то-
го палеолита.

Под кустами ириса
Все передрались.
Не договорилися,
А так и разбрелись.

Завели старейшины,
А нам они — примеры,
По две, по три женщины,
По две, по три пещеры.

Жёны крепко заперты
На цепи да замки,—
А на крайнем Западе
Открыты бардаки.

Люди понимающие
Ездят на горбатых,
На горбу катающие
Грезят о зарплатах.

Счастливы горбатые,
По тропочкам несясь.
Бедные, богатые —
У них, а не у нас.

Продали подряд всё сразу
Племенам соседним,
Воинов гноят образо-
ваньем этим средним.

От повальной грамоты —
Сплошная благодать.
Поглядели мамонты
И стали вымирать.

Дети все с царапинами
И одеты куцо,
Топорами папиными
День и ночь секутся.

Скоро зра кончится —
Набалуетесь всласть!
В будущее хочется?
Да как туда попасть?!

Нам жрецы пророчили, де
Будет всё попозже.
За камнями — очереди,
За костями — тоже.

От былой от вольности
Давно простыл и след.
Хвать тебя за волосы —
И глядь, — тебя и нет.

Притворились добренькими,
Многих прочь услали
И пещеры ковриками
Пышными устлали.

Мы стоим, нас трое, нам —
Бутылку коньяку.
Тишь в благоустроенном
Каменном веку.

Встреться мне — молю я исто —
Во поле, элита!
Забери ты меня из то-
го палеолита!

Ведь по многим отзываю —
Я умный и не злой,
То есть в веке бронзовом
Стою одной ногой.

Лихие карбонарии,
Закушав водку килечкой,
Спешат в свои подполия
Налаживать борьбу,
А я лежу в гербарии,
К доске пришпилен шпилечкой,
И пальцами до боли я
По дереву скребу.

Корячусь я на гвоздике,
Но не меняю позы.
Кругом жуки-навозники
И мелкие стрекозы,

По детству мне знакомые —
Ловил я их, копал,
Давил, но в насекомые
И сам теперь попал.

Под всеми экспонатами
Эмалевые планочки.
Всё строго по-научному —
Указан класс и вид.
Я с этими ребятами
Лежал в стеклянной баночке,
Дрались мы — это к лучшему, —
Узнал, кто ядовит.

Я представляю мысленно
Себя в большой постели,
Но подо мной написано:
«Невиданный доселе».

Я «homo» был читающий,
Я сапиенсом был.

Мой класс — млекопитающий,
А вид... уже забыл.

В лицо ль мне дуло, в спину ли,
В бушлате или в робе я —
Тянулся, кровью крашенный,
Как звали — к шалашу.

И на тебе — задвинули
В наглядные пособия.
Я злой и ошарашенный
На стеночке вишу.

Оформлен, как на выданье,
Стыжусь, как ученица.
Жужжат шмели солидные,
Что надо подчиниться.

А бабочки хихикают
На странный экспонат,
Личинки мерзко хмыкают
И куколки язвят.

Ко мне с опаской движутся
Мои собратья прежние
Двуногие, разумные —
Два пишут — три в уме.
Они пропишут ижицу —
Глаза у них не нежные.
Один брезгливо ткнул в меня
И вывел резюме:

«С ним не были налажены
Контакты, и не ждём их.
Вот потому он, граждане,
Лежит у насекомых.

Мышленье в нём не развито,
И вечно с ним ЧП,

А здесь он может разве что
Вертеться на пупе».

Берут они не круто ли?
Меня нашли не во поле.
Ошибка это глупая,
Увидится изъян,
Накажут тех, кто спутали,
Заставят, чтоб откнопили,
И попаду в подгруппу я
Хотя бы обезьян.

Но не ошибка — акция
Свершилась надо мною,
Чтоб начал пресмыкаться я
Вниз пузом, вверх спиною.

Вот и лежу расхристанный,
Разыгранный вничью,
Намеренно причисленный
К ползучему жучью.

А может, всё провертится
И соусом приправится,
В конце концов, ведь досочка
Не плаха, говорят, —
Всё слюбится да стерпится.
Мне даже стали нравиться
Молоденькая осочка
И кокон-шелкопряд.

Да! Мне приятно с осами —
От них не пахнет псиной.
Средь них бывают особи
И с талией осиной.

И, кстати, вдруг из коконов
Родится что-нибудь

Такое, что из локонов
И что имеет грудь?

Червяк со мной не кланится,
А оводы со слепнями
Питают отвращение
К навозной голытьбе,
Чванливые созданыца
Довольствуются сплетнями,
А мне нужны общения
С подобными себе.

Пригрел сверчка-дистрофика —
Блоха сболтнула, гнида,
И глядь — два тёртых клопика
Из третьего подвида.

Сверчок полузадушенный
Вполсилы свиристел,
Но за покой нарушенный
На два гвоздочка сел.

Паук на мозг мой зарится,
Клопы кишат — нет роздыха,
Невестой хороводится
Красивая оса.
Пусть что-нибудь заварится,
А там — хоть на три гвоздика,
А с трёх гвоздей, как водится,
Дорога в небеса.

В мозгу моём нахмуренном
Страх льётся по морщинам.
Мне будет шершень шурином,
А что ж мне станет сыном?

Я не желаю, право же,
Чтоб трутень был мне тесть.

Пора уже, пора уже
Напрячься и воскресь.

Когда в живых нас тыкали
Булавочками колкими,—
Махали пчёлы крыльями,
Пищали муравьи,—
Мы вместе горе мыкали,
Все проткнуты иголками!..
Забудем же, кем были мы,
Товарищи мои!

Заносчивый немного я,
Но в горле горечь комом.
Поймите, я, двуногое,
Попало к насекомым!

Но кто спасёт нас, выручит,
Кто снимет нас с доски?
За мною! Прочь со шпилечек,
Сограждане-жуки!

И — как всегда в истории —
Мы разом спины выгнули,
Хоть осы и гундосили,
Но кто силён, тот прав,—
Мы с нашей территории
Клопов сначала выгнали
И паучишек сбросили
За старый книжный шкаф.

Скандал потом уляжется,
Зато у нас — все дома,
И поживают, кажется,
Уже не насекомо.

А я? я тешусь ванночкой
Без всяких там обид.
Жаль, над моею планочкой
Другой уже прибит.

*Болтаюсь сам в себе, как камень в торбе,
И силюсь разорваться на куски,
Придав своей тоске значение скорби,
Но сохранив загадочность тоски.*

Свет Новый не единожды открыт,
А Старый весь разбили на квадраты.
К ногам упали тайны пирамид,
К чертям пошли гусары и пираты.

Пришла пора всезнающих невежд,
Всё выстроено в стройные шеренги.
За новые идеи платят деньги,
И больше нет на «эврику» надежд.

Все мои скалы ветры гладко выбрили,
Я опоздал ломать себя на них.
Всё золото моё в Клондайке выбрали,
Мой чёрный флаг в безветрии поник.

Под илом сгнили сказочные струги
И могикан последних замели.
Мои контрабандистские фелюги
Худые рёбра сушат на мели.

Висят кинжалы добрые в углу
Так плотно в ножнах, что не втиснусь между.
Мой плот папирусный — последнюю надежду —
Волна в щепы разбила об скалу.

Вон из рядов мои партнёры выбыли,
У них сбылись гаданья и мечты.
Все крупные очки они повыбили
И за собою подожгли мосты.

Азартных игр теперь наперечёт,
Авантюристов всех мастей и рангов.
По прериям пасут домашний скот,
Там кони пародируют мустангов.

И состоялись все мои дуэли,
Где б я почел участие за честь,
И выстрелы, и эхо отгремели,
Их было много — всех не перечесть.

Спокойно обошлись без нашей помощи
Все те, кто дело сделали моё.
И по щекам отхлёстанные сволочи
Фалангами ушли в небытие.

Я не успел произнести «К барьеру!»
А я за залп в Дантеса всё отдам.
Что мне осталось? Разве красть химеру
С туманного собора Нотр-Дам?!

В других веках, годах и месяцах
Все женщины мои отжить успели.
Позанимали все мои постели,
Где б я хотел любить — и так, и в снах.

Захвачены все мои одра смертные,
Будь это снег, трава иль простыня.
Заплаканные сёстры милосердия
В госпиталях обмыли не меня.

Ушли друзья сквозь вечность-решето.
Им всем досталась Лета или Прана.
Естественную смертью — никто,
Все — противоестественно и рано.

Иные жизнь закончили свою,
Не осознав вины, не скинув платья.
И, выкрикнув хвалу, а не проклятья,
Спокойно чашу выпили сию.

Другие знали, ведали и прочее...
Но все они на взлёте, в нужный год
Отплавали, отпели, отпророчили.
Я не успел. Я прозевал свой взлёт.

Вадиму Туманову

Был побег на рывок,
Наглый, глупый, дневной,—
Вологодского с ног
И—вперед головой.

И запрыгали двое,
В такт сопя на бегу,
На виду у конвоя
Да по пояс в снегу.

Положен строй в порядке образцовом,
И взывала «Дружба» — старая пила,
И осенили знаменьем свинцовым
С очухавшихся вышек три ствола.

Все лежали плашмя,
В снег уткнули носы,
А за нами двумя—
Бесноватые псы.

Девять граммов горячие,
Как вам тесно в стволах!
Мы на мушках корячились,
Словно как на колах.

Нам добежать до берега, до цели,
Но свыше—с вышек—всё предрешено.
Там у стрелков мы дёргались в прицеле,
Умора просто,—до чего смешно.

Вот бы мне посмотреть,
С кем отправился в путь,
С кем рискнул помереть,
С кем затеял рискнуть...

Где-то виделись будто.
Чуть очухался я,
Прохрипел: «Как зовут-то?
И какая статья?»

Но поздно, зачеркнули его пули
Крестом — затылок, пояс, два плеча.
А я бежал и думал: «Добегу ли?» —
И даже не заметил сгоряча.

Я к нему, чудаку —
Почему, мол, отстал? —
Ну, а он на боку
И мозги распластал.

Пробрало! — телогрейка
Аж просохла на мне.
Лихо бьёт трёхлинейка,
Прямо как на войне.

Как за грудки, держался я за камни,
Когда собаки близко — не беги.
Псы покروпили землю языками
И разбрелись, слизав его мозги.

Приподнялся и я,
Белый свет стервеня.
И гляжу — кумовья
Поджидают меня.

Пнули труп: «Сдох, скотина,
Нету прока с него.
За поимку — полтина,
А за смерть — ничего».

И мы прошли гуськом перед бригадой,
Потом за вахту, отряхнувши снег.
Они обратно в зону — за наградой,
А я — за новым сроком за побег.

Я сначала грубил,
А потом перестал.
Целый взвод меня бил,
Аж два раза устал.

401

Зря пугают тем светом —
Тут с дубьём, там с кнутом.
Врежут там — я на этом,
Врежут здесь — я на том.

А в промежутках — тишина и снега,
Токуют глухари, да бродит лось...
И снова вижу я себя в побеге,
Да только вижу, будто удалось.

Надо б нам вдоль реки, —
Он был тоже не слаб.
Чтоб людям не с руки,
А собакам — не с лап.

Вот и сказке конец,
Зверь бежал на ловца.
Снёс, как срезал, ловец
Беглецу пол-лица.

Я гордость под исподнее упрятал,
Видал, как пятки лижут гордецы.
Пошёл лизать я раны в лизолятор —
Не зализал, и вот они, рубцы.

Всё взято в трубы, перекрыты краны,
Ночами только воют и скулят.
Но надо, надо сыпать соль на раны,
Чтоб лучше помнить — пусть они болят.

1976

Я вам расскажу про то, что будвт,
Я такие вам открою дали...
Пусть меня историки осудят
За непонимание спирали.

Возвратятся на свои на крúги
Ураганы поздно или рано,
И, как сыромятные подпруги,
Льды затянут брюхо океану.

Словно наговоры и наветы,
Землю обволакивают вьюги.
Дуют, дуют северные ветры,
Превращаясь в южные на юге.

Упадут огромной силы токи
Со стальной коломенской версты,
И высоковольтные потоки
Станут током низкой частоты.

И завьются бесом у антенны,
И, пройдя сквозь омы — на реле,
До того ослабнут постепенно,
Что лови их стрелкой на шкале!

В скрипе, стуке, скрежете и гуде
Слышно, как клеветцут и судачат.
Если плачут северные люди —
Значит, скоро южные заплачут.

И тогда не орды чингиз-ханов,
И не сабель звон, не конский топот, —
Миллиарды выпитых стаканов
Эту землю грешную затопят.

I
Я никогда не верил в мираси,
В зредущий рай не ладил теплогома
Угнетелю сохранило море лиси
И выросло ^{воткнули} возле Могодона ^{и не отпустила от}
^{днем отпустила} ^{небеса}

II
Но свисома глаза на небеса,
От них я отлетела очень мало -
Занозы не оставил Рудайсцт,
А Прага сердце мне не разорвала

III
А ми шумели в жизни и на сцене!
Ми путались, мальчики бока,
Но скоро нас заметят и очерт,
Дя! Прогни кто?
Нам не смь бона!

IV
Но мы умели чувствования охотливо
Задолго до того как холодов
С бесстыдством шлюхи прилюдно пачоси
И душа зайчела на зоса

~~душа не была еще, дружок еще был лучше~~
И нас, доис рассирели не косили
Но жолы ми, бедняк не смел гад -
Ми тоже дети отрашних лет России,
Безвременсе влечеа воздух в нос.

(Против плазмы пробали вместе так)

~~уруго~~
~~был и дружок вместе в темноте~~
~~и ми жалеа в переломе пучоге -~~
~~ребруду чоговог так бразкег мого~~
~~переломе заблужаем всем~~
~~и, что перене, и лугу, зго в лугу в лугу~~

И обязательное переживанием сна,
Отуоли почили восторге не раз
Негодь восставило на коше бодренне,
Личило разгна и кандаи и злос
И забол прова, многог весел

Две судьбы

1976-1977

404

Жил я славно в первой трети
Двадцать лет на белом свете по учению.
Жил безбедно и при деле,
Плыл, куда глаза глядели,— по течению.

Затрещит в водовороте,
Заскрипит ли в повороте — я не слушаю,
То разуюсь, то обуюсь,
На себя в воде люблюсь,— брагу кушаю.

И пока я наслаждался,
Пал туман, и оказался в гиблом месте я.
И огромная старуха
Хохотнула прямо в ухо, злая бестия!

Я кричу — не слышу крика,
Не вяжу от страха лыка, вижу плохо я,
На ветру меня качает...
«Кто здесь?» — слышу, отвечает:
«Я — Нелёгкая!

Брось креститься, причитая!
Не спасет тебя святая богородица,—
Кто рули да вёсла бросит,
Тех нелёгкая заносит — так уж водится!»

И с одышкой, ожиреньем
Ломит тварь по пням-кореньям тяжкой
поступью.

Я впотьмах ищу дорогу,
Но уж брагу — понемногу, только по ступью.

Вдруг навстречу мне живая
Колченогая Кривая — морда хитрая!

«Не горюй,— кричит,— болезный,
Горемыка мой нетрезвый,— слёзы вытру я!»

405

Взвыл я, ворот разрывая:
«Вывози меня, Кривая! Я — на привязи!
Мне плевать, что кривобока,
Криворука, кривоока,— только вывези!»

Влез на горб к ней с перепугу,
Но Кривая шла по кругу — ноги разные.
Падал я и полз на брюхе,
И хихикали старухи безобразные.

Не до жиру — быть бы живым...
Много горя над обрывом, а в обрыве — зла!
«Слышь, Кривая, четверть ставлю,
Кривизну твою исправлю, раз не вывезла!

И Нелегкая, маманя!
Хочешь истины в стакане — на лечение?
Тяжело же столько весить,
А хлебнёшь стаканов десять — облегчение!»

И припали две старухи
Ко бутылки медовухи — пьянь с ханыгою.
Я пока за кочки прячусь,
Озираюсь, задом пячусь, с кручи прыгаю.

Огляделся — лодка рядом,
А за мною по корягам, дико охая,
Припустились, подвывая,
Две судьбы мои — Кривая да Нелегкая.

Грёб до умопомраченья,
Правил против ли теченья,
на стремнину ли,—
А Нелегкая с Кривою
От досады с перепою там и сгнули.

Притча о правде

1977

406

В подражание Булату Окуджаве

Нежная Правда в красивых одеждах ходила,
Принарядившись для сырых, блаженных калек.
Грубая Ложь эту Правду к себе заманила,—
Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег!

И легковёрная Правда спокойно уснула,
Слюни пустила и разулыбалась во сне.
Хитрая Ложь на себя одеяло стянула,
В Правду впилась и осталась довольна вполне.

И поднялась, и скроила ей рожу бульдожьёю,—
Баба как баба, и что её ради радеть?!
Разницы нет никакой между Правдой и Ложью,
Если, конечно, и ту и другую раздеть.

Выплела ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды, примерив на глаз,
Деньги взяла, и часы, и ещё документы,
Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась.

Только к утру обнаружила Правда пропажу
И подивилась, себя оглядев делово,—
Кто-то уже, раздобыв где-то чёрную сажу,
Вымазал чистую Правду, а так — ничего.

Правда смеялась, когда в неё камни бросали:
Ложь это всё, и на Лжи — одеянье моё!..
Двое блаженных калек протокол составляли
И обзывали дурными словами её.

Стервой ругали её, и похуже, чем стервой,
Мазали глиной, спустили дворового пса:
— Духу чтоб не было! На километр сто первый
Выселить, выслать за двадцать четыре часа.

Тот протокол заключался обидной тирадой —
Кстати, навесили Правде чужие дела —
Дескать, какая-то мразь называется Правдой,
Ну, а сама пропиалась, проспалась догола.

407

Голая Правда божилась, клялась и рыдала,
Долго болела, скиталась, нуждалась в деньгах.
Грязная Ложь чистокровную лошадь украла
И ускакала на длинных и тонких ногах.

Впрочем, приятно общаться с заведомой ложью,
Правда колола глаза и намаялись с ней.
Бродит теперь, неподкупная, по бездорожью.
Из-за своей наготы избегая людей.

Некий чудак и поныне за Правду воюет, —
Правда, в речах его — правды на ломаный грош:
Чистая Правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что явная Ложь.

Часто, разлив по сто семьдесят граммов
на брата,
Даже не знаешь, куда на ночлег попадёшь.
Могут раздеть — это чистая правда, ребята!
Глядь, а штаны твои носит коварная Ложь.
Глядь, на часы твои смотрит коварная Ложь.
Глядь, а конём твоим правит коварная Ложь!

Я дышал синевой,
Белый пар выдыхал,
Он летел, становясь облаками.
Снег скрипел подо мной,
Поскрипев — затихал,
А сугробы прилечь завлекали.

И звенела тоска, что в безрадостной песне
поётся,
Как ямщик замерзал в той глухой незнакомой
степи.
Усыпив, ямщика заморозило жёлтое солнце,
И никто не сказал — шевелись, подымайся,
не спи.

Всё стоит на Руси
До макушек в снегу —
Полз, катился, чтоб не провалиться.
Сохрани и спаси!
Дай веселья в пургу!
Дай не лечь, не уснуть, не забыться!

Тот ямщик-чудодей бросил кнут, и — куда ему
деться —
Помянул он Христа, ошалев от заснеженных
верст.
Он, хлеща лошадей, мог бы этим немного
согреться,
Ну, а он в доброте их жалел, и не бил,
и замёрз.

Отраженье своё
Увидал в полынье,
И взяла меня оторопь: в пору б

Белый вальс

1977

410

Если петь без души — вытекает из уст белый звук.
Если строки ритмичны без рифмы, тогда говорят —
белый стих.
Если все цвета радуги снова сложить — будет свет,
белый свет,
Если все в мире вальсы сольются в один —
будет вальс, белый вальс.

Какой был бал — накал движенья, звука,
нервов!
Сердца стучали на три счёта вместо двух.
К тому же дамы приглашали кавалеров
На белый вальс традиционный, и захватывало
дух.

Ты сам, хотя танцуешь с горем пополам,
Давно решился пригласить её одну,
Но вечно надо отлучаться по делам —
Спешить на помощь, собираться на войну.

И вот всё ближе, всё реальней становясь,
Она, к которой подойти намеревался,
Идёт сама, чтоб пригласить тебя на вальс,
И кровь в виски твои стучится в ритме вальса.

Ты внешне спокоен среди шумного бала,
Но тень за тобою тебя выдавала —
Металась, ломалась, дрожала она
В зыбком свете свечей.

И бережно держа, и бешено кружа,
Ты мог бы провести её по лезвию ножа.
Не стой же ты руки сложа,
Сам не свой и ничей.

Был белый вальс — конец сомнений маловеров
И завершение юных снов, забав, утех.
Сегодня дамы приглашали кавалеров
Не потому, не потому, что мало храбрости у тех.

Возведены на время бала в званье дам.
И кружит головы нам вальс, как в старину,
Но вечно надо отлучаться по делам —
Спешить на помощь, собираться на войну.

Белее снега белый вальс, — кружись, кружись,
Чтоб снегопад подольше не прервался!
Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь,
И ты был бел, бледнее стен, белее вальса.

Ты внешне спокоен среди шумного бала,
Но тень за тобою тебя выдавала —
Металась, ломалась, дрожала она
В зыбком свете свечей.

И бережно держа, и бешено кружа,
Ты мог бы провести её по лезвию ножа.
Не стой же ты руки сложа,
Сам не свой и ничей.

Где б ни был бал — в Лицее, в Доме офицеров,
В дворцовой зале, в школе — как тебе везло!
В России дамы приглашали кавалеров
Во все века на белый вальс, и было всё
белым-бело.

Потупя взоры, не смотря по сторонам,
Через отчаянье, молчанье, тишину,
Спешили женщины прийти на помощь к нам —
Их бальный зал величиной во всю страну.

Куда б ни бросило тебя, где б ни исчез,
Припомни бал, как был ты бел, — и улыбнёшься.

Век будут ждать тебя и с моря, и с небес,
И пригласят на белый вальс, когда вернёшься.

412

Ты внешне спокоен среди шумного бала,
Но тень за тобою тебя выдавала—
Металась, ломалась, дрожала она
В зыбком свете свечей.

И бережно держа, и бешено кружа,
Ты мог бы провести её по лезвию ножа.
Не стой же ты руки сложа,
Сам не свой и ничей.



Летела жизнь

1976-1978

414

Я сам с Ростова, а вообще подкидыш,
Я мог бы быть с каких угодно мест.
И если ты, мой Бог, меня не выдашь,
Тогда моя свинья меня не съест.

Живу везде, сейчас, к примеру, в Туле.
Живу и не считаю ни потерь, ни барышей.
Из детства помню детский дом в ауле
В республике чечено-ингушей.

Они нам детских душ не загубили,
Делили с нами пищу и судьбу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетала с выхлопом в трубу.

Я сам не знал, в кого я воспитаюсь,
Любил друзей, гостей и анашу,
Теперь — чуть что — за нож хватаюсь,
Которого, по счастью, не ношу.

Как сбитый куст, я по ветру волокся,
Питался при дороге, помня зло, но и добро.
Я хорошо усвоил чувство локтя,
Который мне совали под ребро.

Бывал я там, где и другие были —
Все те, с кем резал пополам судьбу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетала с выхлопом в трубу.

Нас закалили в климате морозном,
Нет никому ни в чем отказа там.
Так что чечены, жившие при Грозном,
Намылились с Кавказа в Казахстан.

А там — Сибирь, лафа для брадобреев,
Скопление народов и нестриженных бичей,
Где место есть для зеков, для евреев
И недоистреблённых басмачей.

415

В Анадыре что надо мы намыли,
Нам там ломы ломали на горбу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетала с выхлопом в трубу.

Мы пили всё, включая политуру,
И лак и клей, стараясь не взболтнуть,
Мы спиртом обманули пулю-дуру,
Так что ли умных нам не обмануть?

Пью водку под орехи для потехи,
Коньяк под плов с узбеками, по-ихнему —

пилав.

В Норильске, например, в горячем цехе
Мы пробовали пить стальной расплав.

Мы дыры в дёснах золотом забили,
Состарюсь — выну, — денег наскребу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетала с выхлопом в трубу.

Какие песни пели мы в ауле,
Как прыгали по скалам нагишом!
Пока меня с пути не завернули,
Писался я чечено-ингушом.

Одним досталась рана ножевая,
Другим — дела другие, ну, а третьим —

третья треть.

Сибирь! Сибирь — держава бичевая,
Где есть, где жить, и есть, где помереть.

Я был кудряв, но кудри истребили,
Семь пядей из-за лысины во лбу.

Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетала с выхлопом в трубу.

416

Вспоминанья только потревожь я,—
Всегда одно: «На помощь! Караул!»
Вот бьют чеченов немцы из Поволжья,
А место битвы — город Барнаул.

Когда дошло почти до самосуда,
Я встал горой за горцев, чье-то горло теребя.
Те и другие были не отсюда,
Но воевали, словно за себя.

А те, кто нас на подвиги подбили,
Давно лежат и корчатся в гробу,—
Их всех свезли туда в автомобиле,
А самый главный вылетел в трубу.

I

Я был и слаб, и уязвим,
Дрожал всем существом своим,
Кровоточил своим больным
Истерзанным нутром.

И, словно в пошлом покурри,
Огромный лоб возник в двери
И озарился изнутри
Здоровым недобром.

Но властно дёрнулась рука:
— Лежать лицом к стене!
И вот мне стали мять бока
На липком топчане.

А самый главный сел за стол,
Вздохнул осатанело
И что-то на меня завёл,
Похожее на дело.

Вот в пальцах цепких и худых
Смешно задёргался кадык,
Нажали в пах, потом — под дых,
На печень — бедолагу.

Когда давили под ребро,
Как ёкало моё нутро,
И кровью харкало перо
В невинную бумагу.

В полубреду, в полупылу
Разделся донага.
В углу готовила иглу
Нестарая карга.

И от корней волос до пят
По телу ужас плёлся —

А вдруг уколом усыпят,
Чтоб сонный раскололся.

418

Он, потрудясь над животом,
Сдавил мне череп, а потом
Предплечье мне стянул жгутом
И крови ток прервал.
Я было взвизгнул, но замолк,
Сухие губы — на замок,
А он кряхтел, кривился, мок,
Писал и ликовал.

Он в раж вошёл — знакомый раж,
Но я как заору:
— Чего строчишь? А ну, покажь
Секретную муру!

Подручный — бывший психопат,
Вязал мои запястья.
Тускнели, выложившись в ряд,
Орудия пристрастья.

Я тёрт и бит, и нравом крут,
Могу — вразнос, могу — враскрут,
Но тут смиряют, но тут уймут.
Я никну и скучаю.
Лежу я, голый как сокол,
А главный — шмыг да шмыг за стол,
Всё что-то пишет в протокол,
Хоть я не отвечаю.

Нет! Надо силы поберечь,
Ослаб я и устал.
Ведь скоро пятки будут жечь,
Чтоб я захохотал.

Держусь на нерве, начеку,
Но чувствую — отвратно.
Мне в горло всунули кишку —
Я выплюнул обратно.

Я взят в тиски, я в клещи взят,
По мне елозят, егозят,
Всё вызнать, выведать хотят,
Всё пробуют наощупь.
Тут не пройдут и пять минут,
Как душу вынут, изомнут,
Всю испоганят, изорвут,
Ужмут и прополощут.

Дыши, дыши поглубже ртом,
Да выдохни — умрёшь!..
У вас тут выдохни — потом
Навряд ли и вздохнёшь.

Во весь свой пересохший рот
Я скалюсь: — Ну, порядки!
Со мною номер не пройдёт,
Товарищи-ребятки!

Убрали свет и дали газ,
Доска какая-то зажглась.
И гноем брызнуло из глаз,
И булькала трахея.
Он стервенел, входил в экстаз.
Приволокли зачем-то таз...
Я видел это как-то раз —
Фильм в качестве трофея.

Ко мне заходят со спины
И делают укол.
Колите, сукины сыны,
Но дайте протокол!

Я даже на колени встал
И к тазу лбом прижался.
Я требовал и угрожал,
Молил и унижался.

Но туже затянули жгут,
Вон вижу я — спиртовку жгут.
Все рыжую чертовку ждут
С волосяным кнутом.
Где-где, а тут своё возьмут.
А я гадаю — старый шут —
Когда же раскалённый прут,
Сейчас или потом?

Калился шабаш и лысел,
Пот лился горячо.
Раздался звон и ворон сел
На белое плечо.

И ворон крикнул: — Nevermore!
Проворен он и прыток.
Напоминает — прямо в морг
Выходит зал для пыток.

Я слабо поднимаю хвост,
Хотя для них я глуп и прост:
— Эй! За пристрастный ваш вопрос
Придётся отвечать.
Вы, как вас там по именам,
Вернулись к старым временам,
Но протокол допроса нам
Обязаны давать.

И я через плечо кошу
На писанину ту:
— Я это вам не подпишу,
Покуда не прочту.

Но чья-то жёлтая спина
Ответила бесстрастно:
— А ваша подпись не нужна.
Нам без неё всё ясно.

И хотя я весь в недугах — мне не страшно
 почему-то.
 Подмахну — давай, не глядя, медицинский
 протокол.
 Мне приятен Склифосовский — основатель
 института,
 Мне знаком товарищ Боткин — он желтуху
 изобрёл.

В положении моём
 Лишь чудак права качает —
 Доктор, если осерчает,
 Так упрячет в жёлтый дом.

Всё зависит в доме оном
 От тебя от самого:
 Хочешь — можешь стать Будённым,
 Хочешь — лошадью его.

У меня мозги за разум не заходят, верьте
 слову.
 Задаю вопрос с намёком, то есть лезу
 на скандал:
 — Если б Кащенко, к примеру, лёг лечиться
 к Пирогову,
 Пирогов бы без причины резать Кащенко
 не стал.

Доктор мой — большой педант.
 Сдержан он и осторожен:
 — Да, вы правы, но возможен
 И обратный вариант.

Вот палата на пять коек,
 Вот профессор входит в дверь,
 Тычет пальцем: — Параноик!
 И поди его проверь.

Хорошо, что вас, светила, всех повесили
на стенку.
Я за вами, дорогие, как за каменной стеной.
На Вишневского надеюсь, уповаю на Бурденку —
Подтвердят, что не душевно, а духовно
я больной.

423

Род мой крепкий, весь в меня.
Правда, прадед был незрячий,
Свёкр мой белогорячий,
Но ведь свёкр не родня.

Доктор, мы здесь с глазу на глаз,
Отвечай же мне, будь скор —
Или будет мне диагноз,
Или будет приговор?

Доктор мой, и санитары, и светила все —
смутились,
Заоконное светило закатилось за спиной.
И очёчки на цепочке как бы влагой замутились.
У отца желтухи щёчки вдруг покрылись
желтизной.

И нависло остриё,
В страхе съёжилась бумага, —
Доктор действовал на благо,
Жалко, благо не моё.

Но не лист — перо стальное
Грудь проткнуло, как стилет.
Мой диагноз — паранойя,
Это значит — пара лет.

III

Вдруг словно канули во мрак
Портреты и врачи.
Жар от меня струился, как
От доменной печи.

Я злую ловкость ощутил,
Пошёл, как на таран,
И фельдшер еле защитил
Рентгеновский экран.

И горлом кровь, и не уймёшь,—
Залью хоть всю Россию.
И крик: На стол его, под нож!
Наркоз, анестезию!

Мне горло обложили льдом,
Спешат, рубаху рвут.
Я ухмыляюсь красным ртом
Как на манеже шут.

Я сам себе кричу: Трави!
И напрягаю грудь,—
В твоей запёкшейся крови
Увязнет кто-нибудь.

Я б мог, когда б не глаз да глаз,
Всю землю окровавить.
Жаль, что успели медный таз
Не вовремя подставить.

Уже я свой не слышу крик,
Не узнаю сестру.
Вот сладкий газ в меня проник,
Как водка поутру.

И белый саван лёг на зал,
На лица докторов.
Но я им всё же доказал,
Что умственно здоров.

Слабею, дёргаюсь, и вновь
Травлю, но иглы вводят
И льют искусственную кровь,—
Та горлом не выходит.

Хирург, пока не взял наркоз,
Ты голову нагни.
Я важных слов не произнёс,
Но на губах они.

Взрезайте, с богом, помолясь,
Тем более бойчей,
Что эти строки не про вас,
А про других врачей.

Я лёг на сгибе бытия,
На полдороге к бездне,
И вся история моя —
История болезни.

Очнулся я — на теле швы,
А в теле мало сил.
И все врачи со мной на «вы»,
И я с врачами мил.

Нельзя вставать, нельзя ходить.
Молись, что пронесло!
Я здесь баклуш могу набить
Несчётное число.

Мне здесь пролёживать бока
Без всяческих общений.
Моя кишка тонка пока
Для острых ощущений.

Я был здоров, здоров как бык,
Как целых два быка.
Любому встречному в час пик
Я мог намять бока.

Идёшь, бывало, и поёшь,
Общаешься с людьми...
Вдруг — хватать! — на стол тебя, под нож.
Допелся, чёрт возьми!

Не надо нервничать, мой друг,—
Врач стал чуть-чуть любезней,—
Почти у всех пюдей вокруг
Истории болезней.

Сам первый человек хандрил,
Он только это скрыл.
Да и Создатель болен был,
Когда наш мир творил.

Адам же Еве яду дал—
Принёс в кармане ей.
А искуситель-змея страдал
Гигантоманией.

Вы огорчаться не должны,—
Врач стал ещё любезней,—
Ведь вся история страны—
История болезни.

Всё человечество давно
Хронически больно.
Со дня творения оно
Болезнь обречено.

У человечества всего—
То колики, то рези.
И вся история его—
История болезни.

Живёт больное всё быстрее,
Всё злей и бесполезней,
И наслаждается своей
Историей болезни.

Я умру, говорят,
мы когда-то всегда умираем.
Съезжу на дармовых,
если в спину сподобят ножом,—
Убиенных щадят,
отпевают и балуют раем.
Не скажу про живых,
а покойников мы бережём.

В грязь ударю лицом,
завалюсь покрасивее набок,
И ударит душа
на ворованных клячах в галоп.
Вот и дело с концом,—
в райских куцах покушаю яблок.
Подойду не спеша—
вдруг апостол вернёт, остолоп.

Чур меня самого!
Наважденье, знакомое что-то,—
Неродящий пустырь
и сплошное ничто—беспредел,
И среди ничего
возвышались литые ворота,
И зтап-богатырь—
тысяч пять—на коленках сидел.

Как ржанёт коренник,—
я смирил его ласковым словом,
Да репей из мочал
еле выдрал и гриву заплёл.
Пётр-апостол, старик,
что-то долго возился с засовом,

И кряхтел, и ворчал,
и не смог отворить — и ушёл.

Тот огромный этап
не издал ни единого стона,
Лишь на корточки вдруг
с онемевших колен пересел.
Вон — следы пёсжих лап.
Да не рай это вовсе, а зона!
Всё вернулось на круг,
и Распятый над кругом висел.

Мы с конями глядим —
вот уж истинно зона всем зонам! —
Хлебный дух из ворот —
так надёжней, чем руки вязать.
Я пока невредим,
но и я нахлебался озоном,
Лепоты полон рот,
и ругательства трудно сказать.

Засучив рукава
пролетели две тени в зелёном.
С криком — «В рельсу стучи!»
пропорхнули на крыльях бичи.
Там малина, братва, —
нас встречают малиновым звоном!
Нет, звенели ключи —
это к нам подбирали ключи.

Я подох на задах,
на руках на старушечьих, дряблых,
Не к Мадонне прижат
Божий сын, а к стене, как холоп.
В дивных райских садах
просто прорва мороженных яблок,
Но сады сторожат,
и стреляют без промаха в лоб.

Херувимы кружат,
ангел окает с вышки — занятно!
Да не взыщет Христос, —
 рву плоды ледяные с дерев.
Как я выстрелу рад —
 ускакал я на землю обратно,
Вот и яблок принёс,
 их за пазухой телом согрев.

Я вторично умру —
 если надо, мы вновь умираем.
Удалось, бог ты мой,
 я не сам, вы мне пулю в живот.
Так сложилось в миру —
 всех застреленных балуют раем,
А оттуда землёй —
 бережёного бог бережёт.

В грязь ударю лицом,
 завалюсь после выстрела набок.
Кони хочут овсу,
 но пора закусить удила.
Вдоль обрыва, с кнутом,
 по-над пропастью, пазуху яблок
Я тебе принесу —
 ты меня и из рая ждала.

Охота с вертолетов (Конец охоты на волков)

1978

430

Словно бритва, рассвет полоснул по глазам,
Отворились курки, как волшебный Сезам,
Появились стрелки, на помине легки,—
И взлетели стрекозы с протухшей реки,
И потеха пошла в две руки, в две руки.

Мы легли на живот и убрали клыки.
Даже тот, даже тот, кто нырял под флажки,
Чуял волчьи ямы подушками лап,
Тот, кого даже пуля догнать не могла б,—
Тоже в страхе взопрел— и прилёт, и ослаб..

Чтобы жизнь улыбалась волкам— не слышал.
Зря мы любим её, однолюбы.
Вот у смерти— красивый широкий оскал
И здоровые, крепкие зубы.

Улыбнёмся же волчьей ухмылкой врагу,
Псам ещё не намылены холки.
Но— на татуированном кровью снегу
Наша роспись: мы больше не волки!

Мы ползли, по-собачьи хвосты подобрал,
К небесам удивлённые морды задрал:
Либо с неба возмездье на нас пролилось,
Либо света конец— и в мозгах перекося...
Только били нас в рост из железных стрекоз.

Кровью вымокли мы под свинцовым дождём—
И смирились, решив: всё равно не уйдём!
Животами горячими плавил снег.
Эту бойню затеял не Бог— человек!
Улетающих— влёт, убегающих— в бег.

Свора псов, ты со стаей моей не вяжись —
В равной сваре за нами удача.
Волки мы! Хороша наша волчая жизнь.
Вы — собаки, и смерть вам — собачья.

Улыбнёмся же волчьей ухмылкой врагу,
Чтобы в корне пресечь кривотолки.
Но — на татуированном кровью снегу
Наша роспись: мы больше не волки!

К лесу! Там хоть немногих из вас сберегу!
К лесу, волки! Труднее убить на бегу!
Уносите же ноги, спасайте щенков!
Я мечусь на глазах полупьяных стрелков
И скликаю заблудшие души волков.

Те, кто жив — затаились на том берегу.
Что могу я один? Ничего не могу!
Отказали глаза, притупилось чутьё...
Где вы, волки, бывшее лесное зверьё,
Где же ты, желтоглазое племя моё?!

Я живу. Но теперь окружают меня
Звери, волчьих не знавшие кличей.
Это — псы, отдалённая наша родня,
Мы их раньше считали добычей.

Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу,
Обнажаю гнилые осколки.
А на татуированном кровью снегу —
Тает роспись: мы больше не волки!

Мне судьба — до последней черты, до креста —
Спорить до хрипоты, а за ней — немота,
Убеждать и доказывать с пеной у рта,
Что не то это вовсе, не тот и не та...

Что лабазники врут про ошибки Христа,
Что пока ещё в грунт не вляжалась плита,
Триста лет под татарами — жизнь ещё та:
Маета трёхсотлетняя и ницета.

Но под властью татар жил Иван Калита,
И уж был не один, кто один против ста.
Вот намерений добрых и бунтов тцета —
Пугачёвщина, кровь и опять — ницета.

Пусть не враз, пусть сперва не поймут
ни черта, —
Повторю, даже в образе злого шута.
Но — не стоит предмет, да и тема — не та,
Суета всех сует — всё равно суета.

Только чашу испить — не успеть на бегу.
Даже если разлить — всё равно не смогу.
Или выплеснуть в наглую рожу врагу?..
Не ломаюсь, не лгу — не могу. Не могу!

На вертящемся гладком и скользком кругу
Равновесье держу, изгибаюсь в дугу...
Что же с чашею делать — разбить? — не могу!
Потерплю и достойного подстерегу.

Передам — и не надо держаться в кругу,
И в кромешную тьму, и в неясную згу,

Другу передоверивши чашу, сбегу.
Смог ли он её выпить — узнать не смогу.

433

Я с сошедшими с круга пасусь на лугу,
Я о чаше невыпитой здесь ни гугу,
Никому не скажу, при себе сберегу,
А сказать — и затопчут меня на лугу.

Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!
Может, кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
И весёлый манер, на котором шучу.

Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят напустить — не хочу!
На ослабленном нерве я не зазвучу —
Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!

Лучше я загуляю, запью, заторчу,
Всё, что ночью кропаю — в чаду растопчу,
Лучше голову песне своей откручу,
Но не буду скользить, словно пыль по лучу!

Если всё-таки чашу испить мне судьба,
Если музыка с песней не слишком груба,
Если вдруг докажу, даже с пеной у рта, —
Я уйду — и скажу, что не всё суета!

Когда пожелаю,
О чём захочу.

435

Когда постарею,
Пойду к палачу,—
Пусть вздёрнет скорее,
А я заплачú.

Бывают дни — я голову в такое пекло всуну,
Что и судьба попятится испугана, бледна.
Я как-то влил стакан вина для храбрости
в фортуна,
С тех пор — ни дня без стакана. Ещё ворчит она:

«Закуски — ни корки!»
Мол, я бы в Нью-Йорке
Ходила бы в норке,
Носила б парчу...
Я ноги — в опорки,
Судьбу — на закорки,
И в гору, и с горки
Пьянчугу влачу.

Я не постарею,
Пойду к палачу,—
Пусть вздёрнет на рею,
А я заплачú.

Однажды переперелíл судьбе я ненароком —
Пошла, родимая, вразнос и изменила лик,
Хамила, безобразила и обернулась роком,
И, сзади прыгнув на меня, схватила за кадык.

Мне тяжело под нею,—
Уже я бледнею,
Уже сатанею,
Кричу на бегу:

«Не надо за шею!
Не надо за шею!!
Не надо за шею!!!—
Я петь не смогу!»

Судьбу, коль сумею,
Снесу к палачу,—
Пусть вздёрнет на рею,
А я заплачú.

Пожары над страной всё выше, жарче, веселей,
Их отблески плясали в два притопа,
три прихлопа,
Но вот судьба и время пересели на коней,
А там в галоп, под пули в лоб,
И мир ударило в озноб
От этого галопа.

Шальные пули злы, слепы и бестолковы,
А мы летели вскачь—они за нами влёт.
Расковывались кони и горячие подковы
Роняли в пыль на счастье тем, кто их потом
найдёт.

Увёртливы поводья, словно угри,
И спутаны и волосы и мысли на бегу,
Но ветер дул, и расплетал нам кудри,
И распрямлял извилины в мозгу.

Ни бегство от огня, ни страх погони ни при чём,
А время подскакало, и фортуна улыбалась,
И сабли седоков скрестились с солнечным
лучом,

Седок—поэт, а конь—Пегас,
Пожар померк, потом погас,
А скачка разгоралась.

Ещё не видел свет подобного аллюра,—
Копыта били дробь, трезвонила капель,
Помешанная на крови слепая пуля-дура
Прозрела, поумнела вдруг и чаще била в цель.

И кто кого — азартней перепляса,
И кто скорее — в этой скачке опоздавших
нет,
А ветер дул, с костей сдувая мясо
И радуя прохладой скелет.

Удача впереди и исцеление больным,
Впервые скачет время напрямую — не по кругу.
Обещанное «Завтра» — будет горьким
и хмельным.

Светло скакать, врага видать
И друга тоже — благодать!
Судьба летит по лугу.

Доверчивую Смерть вокруг пальца обернули,
Замешкалась она, забыв махнуть косою.
Уже не догоняли нас и отставали пули.
Удастся ли умыться нам не кровью, а росой?

Выл ветер всё печальнее и глуше,
Навылет время ранено, досталось и судьбе.
Ветра и кони, и тела и души
Убитых выносили на себе.



Мой чёрный человек

1979

440

Мой чёрный человек в костюме сером,
Он был министром, домуправом, офицером.
Как злобный клоун, он менял личины
И бил под дых, внезапно, без причины.

И, улыбаясь, мне ломали крылья,
Мой хрип порой похожим был на вой,
И я немел от боли и бессилья
И лишь шептал: — Спасибо, что живой.

Я суеверен был, искал приметы,
Что, мол, пройдёт, терпи, всё ерунда...
Я даже прорывался в кабинеты
И зарекался: — Больше — никогда!

Вокруг меня кликуши голосили:
— В Париж мотает, словно мы в Тюмень!
Пора такого выгнать из России!
Давно пора, видать, начальству лень.

Судачили про дачу и зарплату:
Мол, денег прорва, по ночам кую.
Я всё отдам! — берите без доплаты
Трёхкомнатную камеру мою.

И мне давали добрые советы,
Чуть свысока, похлопав по плечу,
Мои друзья — известные поэты:
— Не стоит рифмовать «кричу — торчу».

И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешёл на «ты», —
Она давно возле меня кружила,
Побаивалась только хрипоты.

Я от суда скрываться не намерен,
Коль призовут — отвечу на вопрос.
Я до секунд всю жизнь свою измерил
И худо-бедно, а тащил свой воз.

Но знаю я, что лживо, а что свято,—
Я понял это всё-таки давно.
Мой путь один, всего один, ребята,
Мне выбора, по счастью, не дано.

Мой гёрный человек в костюме сером
Он был министром, доучителем, ординаром.
Как злобный клоун, он менял личины
И был поднят, внезапно, без прикрасы
~~Мне безжизненно свзвонили крылья~~
И удивлялся, мне помалю крылья,
Мой хрип порой, похотим был на вой
И з немер от боли и бессилья
И миш штётка! "Спасибо, это живой"



Я суеверен был, искал приметы,
Что мой пройдёт, терки, все друнда...
Я даже прорывался в кабинеты
И зарекался!.. Больше, никогда!

Вокруг меня кликуши толпились,
"В Париж летает, словно ми в Тюмень,
Поро такого выгнать из России,
Давно боро, видоть нагольству лень"

Судачили про дагу и зарплату.
Мои денег прорва, по ногам кую.
А все отдам, берите без доплаты
Трёхкомнатную комнату мою.
И мне довали добрые совети
Зуть свисока похоровав по плечу
Мои друзья - известные поэти
"Не стоишь оформовать критику - тебе"
И лобнула во, мне гербенья тира
И я со смортью не шёл на, ~~ты~~
Она давно возле меня ~~путь~~
Побойволась только кривоты

А от суда сиривотся
не намерен,
Коль призовут - отведу на
вопрос
А до секунды всю жизнь
свою измерил
и худо-бедно, но тачал свой
всё

Но знаю я, что ~~жизнь~~, а что свзю,
И это помню все-таки давно
Мой быть один, всего один, ребята,
Мне выбора ~~не~~ - пощады не дано
Все.

Грусть моя, тоска моя (Вариации на цыган-
ские темы) 1980

443

Шёл я, брёл я, наступал то с пятки, то с носка.
Чувствую — дышу и хорошею.
Грусть-тоска, змеиная зелёная тоска,
Изловчась, мне прыгнула на шею.

Я её и знать не знал, меняя города,
А она мне шепчет: «Как ждала я...
Как тебе? Куда тебе? Зачем, да и когда?»
Сам связался с нею, не желая.

Одному идти — куда ни шло, — ещё могу,
Сам себе судья, хозяин-барин.
Впрягся сам я вместо коренного под дугу,
С виду прост, а изнутри — коварен.

Я не клеветцу, подобно вредному клещу
Впился сам в себя, трясу за плечи.
Сам себя бичую я и сам себя хлещу,
Так что — никаких противоречий.

Одари, судьба! Или за деньги отоварь!
Буду дань платить тебе до гроба!
Грусть моя, тоска моя — чахоточная тварь, —
До чего ж живучая, хвороба.

Поутру не пикни, как бичами ни бичуй,
Ночью — бац! — со мной на боковую.
С кем-нибудь другим хотя бы ночь переночуй!
Гадом буду, я не приревную.

I

Мне снятся крысы, хоботы и черти. Я
Гоню их прочь, стенаю и браня,
Но вместо них я вижу виночерпия.
Он шепчет: «Выход есть: к исходу дня—
Вина! И прекратится толкотня,
Виденья схлынут, сердце и предсердие
Отпустят, и расплавится броня!»
Я— снова я, и вы теперь мне верьте, я
Немногого прошу взамен бессмертия,—
Широкий тракт, да друга, да коня.
Прошу покорно, голову склоня,
В тот день, когда отпустите меня,—
Не плачьте вслед, во имя милосердия!

II

Чту Фауста ли, Дориана Грея ли,
Но чтобы душу дьяволу—ни-ни!
Зачем цыганки мне гадать затеяли?
День смерти называли мне они...
Ты эту дату, боже сохрани,
Не отмечай в своём календаре, или
В последний миг—возьми да измени,
Чтоб я не ждал, чтоб вороны не реяли
И чтобы агнцы жалобно не блеяли,
Чтоб люди не хихикали в тени.
От них от всех, о Боже, охрани
Скорее, ибо душу мне они
Сомненьями и страхами засеяли!



БАЛТИКА

Томск

№ 34

ТЕМАТИЧЕСКИХ НОВЕЧЕРОВ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ГОРОДУ

ВЛАДИМИРА

ВЫСОЦКОГО



16

МОИ ФИНИШ ГОРИЗОНТ,
А ЛЕНТА - КРАЙ ЗЕМЛИ

ЭХО ДАЛЕКИХ СНЕГОВ

ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ ПУТИ

23

713-й ПРОСИТ ПОСАДКУ

НАШЕ ВРЕМЯ ИНОЕ...

30

ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА

ВЫСОЦКИЙ СМЕЕТСЯ

7

СТРЯПУХА

14

ОТ ХЛОПУШКИ И Б

ЧЕТВЕР

ТАКИМ З

21

ПАВХОВА ХО

В рамках программы учета литературы... журналы гастрономии, кино
арты Москвы и Ленинграда
литературно-художественные журналы
литературно-художественной о Владимире Высоцком
НА ВСТРЕ

*Видел я все дела, какие делаются под солнцем,
И вот все — суета и томление духа!*

Экклезиаст I, 14

Я уйду и скажу, что не все суета.

В. Высоцкий

Я никогда не видел живого Высоцкого. Просто не успел. Преграда времени развела наши дороги. Но никаким преградам не удалось и не удастся остановить голос Высоцкого, рвущийся нам навстречу, заставляющий думать и реально смотреть на происходящее вокруг.

Для меня этот голос стал своего рода компасом в будущем океане борьбы. Наверное, такое сравнение кому-то покажется выпендренным и слишком обязывающим, но на своем пока недолгом жизненном пути мне не раз приходилось реальными делами доказывать верность принципам, которые утверждал своими песнями Высоцкий. Конечно, мой возраст и род занятий могут в чьих-то глазах обесценить высказываемое мнение о Высоцком. Но в конце концов, есть нечто выше шахмат, важнее всех наших повседневных интересов и дел. И это Нечто, не определяемое понятием, но составляющее неотъемлемую часть человеческой сущности, для меня олицетворяет Владимир Семенович Высоцкий.

Не помню, когда впервые (лет в 12 или 13) я услышал запись его песен, но в памяти отчетливо осталось сильное, резкое впечатление от выплеснутого с магнитофонной кассеты сгустка

эмоций. Впрочем, сейчас я с долей иронии вспоминаю атмосферу бесшабашности и «нелегальности», возникавшую при коллективном слушании этих песен. «Детям вечно досаждает их возраст и быт...» — в этом плане я мало чем отличался от своих сверстников, которых завораживающий хриплый голос уводил в мир, в мир «взрослых дел».

Вырастая, я стал смотреть шире и потихоньку постигать социальность творчества Высоцкого. А начав различать оттенки и избавившись от традиционного черно-белого детского восприятия, окончательно сделал свой выбор — с тех пор Высоцкий стал моим неизменным спутником и добрым гением во всех жизненных коллизиях. Каждый шаг по нелегкому пути наверх, шаг, сопряженный нередко с безрассудным, но неизбежным риском, вызывал в памяти ассоциации с миром Высоцкого, — так глубоко сумел он проникнуть в психологию борьбы и противостояния.

Последний этап моего восхождения на шахматный Олимп превратился в беспрецедентный изнурительный двадцатипятимесячный марафон. 96 партий, сыгранные в трех матчах, вместили в себя почти всю гамму человеческих страстей: и балансирование на грани катастрофы, и горечь крушения надежд, и радость свершения, и непрерывный творческий поиск. За это время мне пришлось о многом передумать, многое пересмотреть. Сейчас ясно, какая пропасть лежит между двумя моими «я»: оптимистичным претендентом, начавшим 10 сентября 1984 года борьбу за шахматную корону, и чемпионом мира, переживавшим взлеты и падения и сумевшим ценой страшного перенапряжения сил удержаться наверху.

На протяжении двадцати пяти месяцев один ритуал оставался для меня неизменным: все 96 раз последнее напутствие перед боем я получал от Владимира Высоцкого. 96 раз мчались его «Кони» по краю пропасти. 96 раз это невероятное, ирреальное видение заставляло меня изыскивать новые и новые ресурсы для продолжения беспощадной борьбы.

Я уверен: заряд, получаемый нами от песен Высоцкого, не является узкоспециальным раздражителем. Безусловно, мы обретаем дополнительную энергию для свершений в своей области. Но стоит вслушаться глубже — и начинаешь понимать, что за нарочитой подчас простотой изложения скрыты ценности, находящиеся в абсолютно другом измерении, нежели, скажем, шахматы, спорт или даже литература и искусство. Нас начинает уводить в глубины тех общечеловеческих чувств и ценностей, которые живут в нас и вокруг нас независимо от нашей воли и на которых, наверное, держится мироздание. Большинство не чувствует наличия этих неуловимых факторов, другие, почувствовав что-то необычное, стараются оградить себя от излишних волнений. Кто-то, согласившись пожертвовать покоем и уютом, делает первые шаги по нелегкому пути, но, столкнувшись с непредвиденными трудностями, сходит с него. Только совсем немногие безоглядно идут вперед, подчиняясь неумиряющему инстинкту борьбы за торжество справедливости. Но лишь на долю единиц выпадает счастливый удел — сознательно пройти по дороге нелегких испытаний, четко представляя глобальность цели и свои возможности. Высоцкий был одним из тех редких людей, кому

суждено открывать новые горизонты в нашем сознании. Продолжая высказанную мысль, рискну утверждать — творчество Высоцкого представляет богатейший материал для индивидуального совершенствования.

Освещая изнутри поступки и характеры своих героев, Высоцкий создал целостный поэтический мир, параллельный нашему, но лишенный косметики и недомолвок. Любой акцент или нюанс в его стихах ставит нас перед реальным жизненным фактом, а правда независимо от спроса всегда является дефицитом.

Конечно, бесполезно искать у Высоцкого готовых рецептов на все случаи жизни. Из многообразия тем, им затронутых, каждый волен выделять что-то ему особенно близкое по духу, взглядам, убеждениям, выбирать и... решать, что же с этим делать дальше? Если Вы хотите сохранить реальное представление об окружающем мире, послушайте Высоцкого. «Пусть чаша горькая — я их не обману...» Он не обманет. Если Вы хотите лучше узнать самого себя — попытайтесь вместе с ним пережить то, что переживает он с каждым из своих героев. Если Вы хотите узнать себе цену — попытайтесь придерживаться высших принципов, составляющих основу гражданской позиции и творчества Владимира Высоцкого.

Конечно, нам привычнее ориентироваться в особенностях человеческого характера по классической литературе. Глубинные психологические анализы Достоевского и Толстого никогда не потеряют своей актуальности, и это естественно — человеческие страсти остаются неизменными на века.

Время эти понятия не стерло,
Нужно только поднять верхний пласт,—
И дымящейся кровью из горла
Чувства вечные хлынут из нас.

Но все-таки мы часто весьма отвлеченно воспринимаем уроки классики, автоматически ассоциируя их с далеким прошлым. Обстановка прошлых веков создавала благоприятную почву для философско-литературных изысканий в области человеческой души, смысла жизни и т. п. Мне кажется, что тогда великие произведения, уходящие в вечность (т. е. принадлежащие и прошлому и будущему), могли создаваться как бы без учета конкретных требований настоящего времени,—размеренный ритм жизни делал этот фактор малосущественным.

Бешеные скорости и высокое напряжение, информационный взрыв и резкие контрасты быта требуют от Слова совершенно особого созвучия с нашими сегодняшними делами, проблемами, заботами. В наши дни самыми мудрыми рассуждениями о добре уже не удастся всколыхнуть человеческие души. Только особое ощущение своего времени может заставить людей оглянуться вокруг, задуматься, начать постигать неизменные истины добра и справедливости. Высоцкий с безукоризненным мастерством решил эту сложнейшую задачу, неразрывно спаяв в своем творчестве противоположности: экстремальность и повседневность. Экстремальные ситуации в его стихах переставали быть для нас чем-то нереальным и далеким. А повседневность, будучи сконцентрирована в одном мгновении, вмещающем в себя множество жизненных кинокадров, поднимается до уровня экстремальности.

Такой синтез, утверждающий гармонию одной жизни и всей человеческой истории, не мог не натолкнуться на активное противодействие серости всех калибров. Вторжение вечности в современность никогда не проходит безболезненно. Поэтому голос Высоцкого, стремящийся проникнуть в душу своего народа, кто-то счел «несоответствующим», кто-то «чужеродным» и т. п. Было сделано немало, чтобы изолировать творчество поэта от тех, ради кого он жил и творил. Не каждому дано выдержать это жестокое психологическое испытание, но Высоцкий ни разу не дал сбой и в самые тяжелые моменты не поступился правдой.

Могу представить (есть уже собственный опыт), как часто приходилось ему выслушивать сердобольные советы. Причем, в виде самого искреннего дружеского сочувствия. И ведь правда, «можно свернуть, обрыв обогнуть» и т. д. Но—

Мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа.

Находясь в центре всеобщего внимания, знаменитость неизбежно становится мишенью для всяческих ударов, пересудов, толков весьма сомнительного свойства. Думаю, что в этом, если можно так сказать, «заочном конкурсе» Высоцкому принадлежит пальма первенства. Иногда в своих леснях он отвечал на самые «достающие» вопросы, но даже его голос, повсюду слышный, терялся в грохоте всевозможных слухов и сплетен. Защита могла быть только одна—полная гласность. Но увидеть ее практически Высоцкому было не суждено... Его недруги постарались, чтобы имя поэта как можно дольше было окружено туманом недоброкачественной людской фантазии. Им, навернякв, хотелось представить

безликую молву как общественный упрек, непризнание поэта и его образа жизни. Но показная святость и елей—эти неизбежные атрибуты «благополучной» атмосферы—были не менее чужды Высоцкому. Он никогда не шел на компромисс с совестью.

Высоцкий был десантником. Дерзкие, смелые рейды в глубины общественного сознания, героическая борьба за великую правду прошлого, настоящего и будущего—все это превратило жизнь поэта в бесконечный десант. С нестигаемым упорством он шел к видимой лишь ему одной цели,—десантнику многое видится отчетливее, чем тем, кто остается по другую линию фронта.

Мне хочется верить, что грубая наша работа
Вам дарит возможность бесплошно видеть
восход.

Глубокий десант обычно обречен. А нам, оказавшимся на месте прошедших кровопролитных боев, остается, сглотнув слезы, почтить минутой молчания память павших.

Предчувствие великого поэта не обманывало Высоцкого. Он не случайно сделал тему судьбы, рока доминантной в философии своего творчества. Вновь и вновь возвращаясь к этой теме, он бесстрашно бросал вызов судьбе, стараясь проникнуть в святая святых человеческого бытия. Сама постановка вопроса, конечно, стара как мир: с начала своего сознательного существования человечество пытается разрешить загадку судьбы. Философские поиски на этом пути, начиная хотя бы с древнегреческой трагедии вплоть до последующих религиозных и философско-этических направлений, привели к формирова-

нию концепции приоритета рока над человеческой активностью. Короче — человеческая деятельность не в силах изменить предначертаний судьбы. Каким же запасом глубочайшего, целостного видения мира нужно было обладать, чтобы усомниться в тысячелетней мудрости и выдвинуть ей боееспособную антитезу! Высоцкий как бы «поменял местами» части древнего определения. Да, рок управляет нами —

Кто-то скуло и четко отсчитал нам часы

Нашей жизни короткой, как бетон полосы.

Но мы не можем оставаться безучастными свидетелями происходящего, а должны действовать и бороться.

Разберись, кто ты — трус иль избранник судьбы

И попробуй на вкус настоящей борьбы.

В этой гениальной простоте заключен девиз неутомимых искателей истины во все еремена, вечный двигатель человеческого прогресса и совершенствования.

Мы должны действовать, чтобы сегодня хоть что-то изменилось к лучшему. Мы должны действовать во имя будущего, во имя тех, кто придет после нас. И, наконец, мы должны действовать, чтобы не потерять высокое звание **ЧЕЛОВЕКА!** Такова «аксиома» Высоцкого. Он утвердил ее примером всей своей жизни.

Пусть рок оказался живучим —

Он сделал, что мог и что должен.

P.S.

Мне грешно жаловаться на судьбу. И все же я не могу избавиться от ощущения, что в чем-то мне крупно не повезло. Ведь я так и не сумел увидеть Владимира Высоцкого, я не успел услышать его воочию.

Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от мелких своих катастроф.

Детям вечно досаден
Их возраст и быт,—
И дрались мы до ссадин,
До смертных обид.
Но одежды латали
Нам матери в срок,
Мы же книги глотали,
Пьянея от строк.

Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой сладко от фраз,
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших стекая на нас.

И пытались постичь
Мы, не знавшие войн,
За воинственный клич
Принимавшие вой,
Тайну слова «приказ»,
Назначенье границ,
Смысл атаки и лязг
Боевых колесниц.

А в кипящих котлах прежних боен и смут
Столько лица для маленьких наших мозгов!

Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.

И злодея следам
 Не давали остыть,
И прекраснейших дам
 Обещали любить,
И друзей успокоив,
 И ближних любя,
Мы на роли героев
 Вводили себя.

Только в грёзы нельзя насовсем убежать:
Краткий миг у забав — столько боли вокруг!
Попытайся ладони у мертвых разжать
И оружие принять из натруженных рук.

Испытай, завладев
 Ещё тёплым мечом
И доспехи надев,
 Что лочём, что почём!
Разберись, кто ты — трус
 Иль избранник судьбы,
И попробуй на вкус
 Настоящей борьбы.

И когда рядом рухнет израненный друг,
И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,
И когда ты без кожи останешься вдруг
Оттого, что убили его — не тебя, —

Ты поймешь, что узнал,
 Отличил, отыскал
По оскалу забрал —
 Это — смерти оскал!

Ложь и зло,— погляди,
Как их лица грубы!
И всегда позади—
Воронье и гробы!

Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почём,—
Значит, нужные книги ты в детстве читал!

Если мясо с ножа
Ты не ел ни куска,
Если руки сложа
Наблюдал свысока
И в борьбу не вступил
С подлецом, с лалачом—
Значит, в жизни ты был
Ни при чём, ни при чём!



АЛЕСЬ АДАМОВИЧ Мы не успели оглянуться	37
АЛЕКСАНДР АНИКСТ Воспоминания о Гамлете *	41
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА	48
ИВАН БОРТНИК «Истратить себя до сердца» *	54
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН Тот, который не стрелял *	66
СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН До и после	72
ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО Больше такого нет	93
АЛЛА ДЕМИДОВА Жил так, как писал	103
ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН «Играйте-ка вы, ребятки, вместе...» *	116
АЛЕКСАНДР МИТТА Работа с Высоцким *	124
БУЛАТ ОКУДЖАВА *	138
ГЕННАДИЙ ПОЛОКА Через шесть лет после *	141
МИХАИЛ РОЦИН Удар Высоцкого *	149
ДАВИД САМОЙЛОВ Его колея	160
ПЕТР ТОДОРОВСКИЙ Пришло время поэта... *	163

ЮРИЙ ТРИФОНОВ	
Горестный урок *	170
ВАДИМ ТУМАНОВ	
Жизнь без вранья	175
МАЙЯ ТУРОВСКАЯ	
Это было при нас *	191
АНАТОЛИЙ ЭФРОС	
Пароль *	198
В. ВЫСОЦКИЙ	
Стихи и песни	213
Большой Каретный	215
Сыт я по горло, до подбородка... ..	218
За меня невеста... ..	219
На границе с Турцией... ..	221
Все ушли на фронт	223
Штрафные батальоны	224
Братские могилы	226
Про дикого вепря	228
Беспокойство	230
Прощание	231
Если я богат, как царь морской... ..	233
О новом времени	234
Аисты	235
Спасите наши души!	237
Охота на волков	240
Банька по-белому	242
Песня о Земле	244
Он не вернулся из боя	245
Песня самолета-истребителя	246

Здесь лапы у елей дрожат на весу... ..	249
Моя цыганская	250
Я не люблю	252
Нет меня, я покинул Расею!.. ..	256
Иноходец	257
Истома ящерицей ползает в костях	260
Горизонт	262
Милицейский протокол	264
Мосты сгорели, углубились броды... ..	267
Баллада о брошенном корабле	268
Заповедник	271
Кони привередливые	274
Прошла пора вступлений и прелюдий... ..	278
О фатальных датах и цифрах	280
Я весь в свете	282
Кругом пятьсот	284
Из дорожного дневника	286
Чёрные бушлаты	289
Тот, который не стрелял	292
Мы вращаем землю	294
Я первый смерил жизнь обратным счетом	296
Чужая колея	300
Люблю тебя сейчас	303
Смотрины	305
Я из дела ушёл	308
Когда я отпою и отыграю	310
Дурацкий сон	311
Штормит весь вечер... ..	313

Я бодрствую, но вещей сон...	315
В дорогу живо...	316
Памятник	318
Погоня	321
Дом	323
Проложите, проложите...	325
Мажорный светофор...	326
Агент 07	327
Водой наполненные горсти...	330
Товарищи учёные	332
Енгибарову-клоуну от зрителей	336
Канатоходец	339
Инструкция перед поездкой за рубеж	342
Мой Гамлет	346
На дистанции четвёрка первачей...	349
Не до...	352
Сначала было слово...	354
Как по Волге-матушке...	355
Баллада о детстве	358
Всю войну под завязку	363
Разбойничья	365
Песня о России	367
Баллада о любви	369
Диалог у телевизора	371
Серенада соловья-разбойника	374
Песня попугая	376
Песня об обиженном времени	378
Письмо в редакцию телевизионной пере- дачи «Очевидное-невероятное»	381

Случаи	386
Много во мне маминого... ..	388
Невиданный доселе	391
Я не успел	396
Был побег на рывок... ..	399
Я вам расскажу про то, что будет... ..	402
Две судьбы	404
Притча о Правде	406
Я дышал синевой... ..	408
Белый вальс	410
Летела жизнь	414
История болезни	417
Райские яблоки	427
Охота с вертолётов	430
Мне судьба — до последней черты... ..	432
О судьбе	434
Пожары над страной... ..	437
Мой чёрный человек	440
Грусть моя, тоска моя	443
Две просьбы	444
ГАРРИ КАСПАРОВ	
Десант в бессмертие *	447
Баллада о борьбе	455

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ВЫСОЦКИЙ

Я, конечно, вернусь...

Ответственный за выпуск

В. Т. Кабанов

Зав. редакцией

В. А. Широков

Редактор

О. Б. Федорова

Художественный редактор

Т. Н. Руденко

Технический редактор

Е. И. Полякова

Корректор

В. А. Коротаяева

ИБ № 1625. Сдано в набор 07.07.87. Подписано в печать 02.10.87. А—02634. Формат 60×84 1/32. Бум. офсетная № 1. Гарнитура «Гельветика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,49. Усл. кр.-отт. 27,21. Уч.-изд. л. 17,87. Тираж 40 000 доп. Изд. № 4503. Заказ № 7—224. Цена 5 р.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50. Фотонабор выполнен ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Госкомиздате СССР. 113054, Москва, Валовая, 28. Отпечатано на Киевской книжной фабрике «Жовтень». 252053, Киев-53, Артема, 25

В $\frac{4702010200-012}{002(01)-88}$ Без объявл.